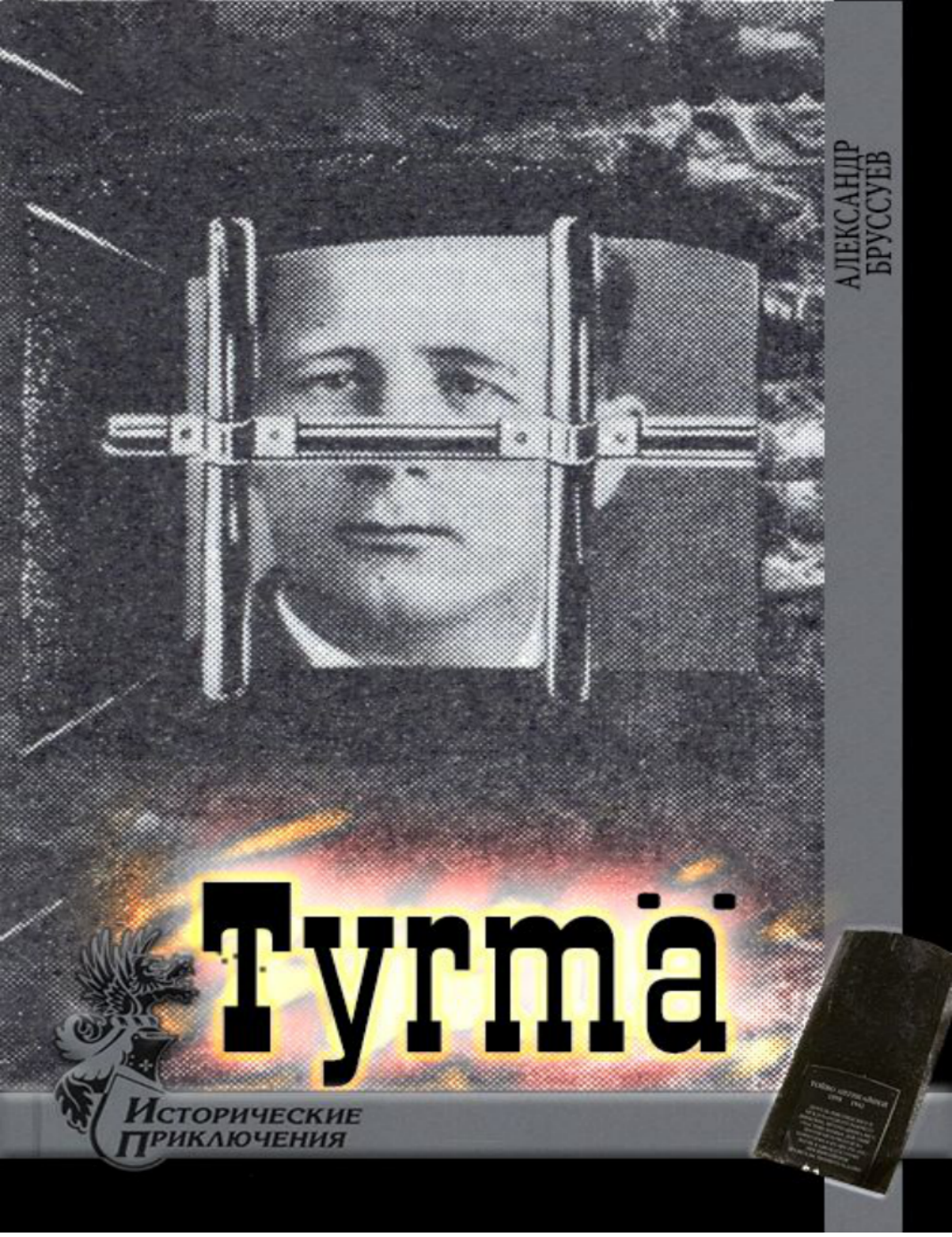

АЛЕКСАНДР БРУССУЕВ

Тюрьма

Исторические Приключения

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Именем Тойво Антикайнена называли вершины гор, снимали про него фильмы, писали о нем книги. 10 лет он, типа, нелегально жил в Финляндии, занимался подрывной деятельностью и, вообще, был вне закона. Мои изыскания несколько различаются с глупой официальной версией. Поэтому моя книга запрещена на территории Карелии. Безмерно рад, что ничего не пришили.

- Александр Бруссуев
  - Вступление
  - 1. Казенная келья
  - 2. Сокамерники
  - 3. Талергоф
  - 4. Дом
  - 5. Возвращение к жизни
  - 6. Организация
  - 7. Старые знакомые
  - 8. Кинезис
  - 9. Старые знакомые, новые дела
  - 10. Анзер
  - 11. Неуместный торг
  - 12. Макеев Михаил Федорович
  - 13. Игги и Тойво
  - 14. Макеев Михаил Федорович (продолжение)
  - 15. Игги и Тойво (продолжение)
  - 16. Портал
  - 17. Переход
  - 18. Переход (продолжение)
  - 19. Война мертвых
  - 20. Здравствуй, Родина
  - 21. Без России
  - 22. Юрье Лейно
  - 23. Подполье
  - 24. Авторитет
  - Эпилог. Опять арест
- notes
  - 1
  - 2

Сделано для библиотеки
LIBRUSEC
Сделано для библиотеки

Александр Бруссуев
Tyrmä

А ты дороги не выбирал и был всегда не у дел.

И вот нашел не то, что искал, а искал не то, что хотел.

И ты пытался меня обмануть, мол, во всем виновата судьба.

А я сказал тебе: «В добрый путь»,

Ты согласился на этот путь, себя превратив в раба…

Машина Времени — Право -

Доколе будет раздражать меня народ сей? И доколе будет он

не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди него?

Ветхий завет. Числа, гл 14 ст 11.

Вступление

Дорогу до Ленинграда Тойво не помнил. Пустота в нем никуда не делась, разве что она как-то сформировалась и обозначилась. Однако разве такое возможно? Вся беда в том, что пустота — это ничто. Нет, конечно, ее не обозначить и не сформировать. Пожалуй, лишь в одном случае пустота становится чуть ли не осязаема, если за ней стоит смерть. Да и то — кто знает что за смертью?

Она, эта смерть, сильнее любой физической и моральной составляющей любого живого существа. Она, эта смерть, поглощает всякую пустоту и любую насыщенность. Она, эта смерть, сильнее любой жизни.

Только душа сильнее смерти.

А душа Тойво требовала: укради, но выпей. Впрочем, конечно, она требовала совсем другого.

Отпущенный парнями из КГБ возле своей гостиницы на все четыре стороны, Антикайнен решил следовать данному ему совету и искривил эти четыре стороны в одно направление: объяснение с руководителем их туристической группы, чемодан, аэропорт и, наконец, Франкфурт, который, как известно, на Майне.

Сославшись на нездоровье, Тойво пошел собирать свой багаж, а в это время озабоченные сотрудники перебуковали ему билет на самолет из Ленинграда, пригрозив, что в Германии подобную процедуру ему придется совершать уже самостоятельно.

— Ладно, ладно, — согласился Антикайнен. — Перебукую. Им-то в авиакомпании без разницы, когда я лечу — сегодня или через неделю. Денежки-то за билеты уже проплачены.

На такси специально обученные парни отвезли его на самый утренний рейс из Пулково-2, дождались, когда он пройдет регистрацию и проводили взглядом оторвавшийся от земли в сторону Франкфурта самолет. Ухмыльнулись друг другу и доложили куда следует: «улетел канадец, скатертью ему дорога, нечего отбиваться от коллектива». Как там дальше будет разбираться с превратностями жизни этот Джон Хоуп — их уже не касается. Родина спасена еще от одного сомнительного элемента. Можно выпить водки и курить бамбук.

Приземлившись в Германии, Тойво не поспешил «перебуковывать» свой билет в Торонто на более ранний срок, а прямиком отправился к стойке регистрации авиакомпании «Финэйр».

— Привет, — сказал он дежурно заулыбавшейся ему девушке

за стеклом. — Могу я от вас попасть в Финляндию?

— Вы можете попасть от нас куда пожелаете, — охотно объяснила ему та. — Куда желаете попасть?

Вопрос не был сложным, если заранее к нему подготовиться. Тойво готовился заранее, но звуки финской речи, от которой за столько лет в Канаде он как-то отвык, вызвали некоторое замешательство.

Попасть можно туда, куда целиться. А можно и промазать. Родина — вот что было в Финляндии. Молодость — вот что было в Финляндии. Однако Родина зачастую вынуждена отказывать во внимании своим детям, ибо все решения за нее, увы, делаются людьми, укрывающими и защищающими от всякого мнимого посягательства то, что и они считают родиной. Для них родина — это всего лишь работа. Любая работа всегда стремится к устранению сложностей — чтобы работалось легко и просто. Те же, кто, вдруг, через миллион лет решил вернуться к родным пенатам — это сложность. Пошли они все в пень!

Ну, а молодость — так ее не вернуть. Казалось, еще вчера стоял на Александеринкату, и впереди была вся жизнь. Можно и сегодня найти тоже место и встать в ту же позу, но впереди будут только слезы, которые налетевший ветер смахнет на мостовую. Жаль, что жизнь так скоротечна, жаль, что в жизни столько потерь.

— Желаю попасть в Хельсингфорс, — наконец, сказал Тойво.

На кой черт ему сдалась проклятая Канада, где на каждого человека приходится по пол-полицейского? И эта половинка упорно произрастает в полнейшую сволочь, а люди, которые не полицейские, эту сволочь уважают и смиренно ждут от нее любой кары. Только прожив в Канаде четверть века, можно сказать, как же там хреново-то жить!

Разве где-то лучше?

В детстве лучше.

Девушка растерялась: в перечне маршрутов их авиакомпании такой город не упоминался.

— А это где? — спросила она. — Может, там поблизости какой-нибудь аэропорт имеется?

— Имеется, — согласился Антикайнен. — Хельсинки. Аэропорт Вантаа.

1. Казенная келья

Капли воды, срывающиеся откуда-то сверху, всегда звучат по-разному. Иногда это звуки «буль-буль» — если, положим, они прилетают в воду, порой — «шмяк-шмяк» — это в случае чего-то податливого на пути, но чаще всего, конечно, «кап-кап». Это значит, что бьются они о что-то твердое — дерево, либо камень.

Тойво слышал именно так. Кап-кап — рождались звуки в его голове. Иногда они раздавались часто, с периодичностью в полминуты, иногда — раз в несколько минут, а иногда — промежуток составлял час, или, даже, часы.

И больше ничего не было: только тьма, насыщаемая, или же — разбавляемая капелью. И мыслей никаких не было. И чувств никаких не было.

Антикайнен не слышал голоса других людей, он не понимал: дышит ли он, или нет. И видений никаких не было. Ни Пан, ни Пропал не объявлялись, чтобы поддержать, поиздеваться или просто промелькнуть мимо.

Вероятно, Тойво умер. Не полностью, но преобладающе.

Да вот только звук этот «кап-кап» не позволял соскользнуть в полнейшее небытие. Он удерживал красного финна на самом краю его личного мироздания, его личного космоса. Он был якорем, который препятствовал двинуться либо в одну, либо в другую сторону.

Однажды промежуток времени между каплями сделался огромным, растянутым просто невероятно, просто чрезвычайно великим, словно бы эта капель вовсе прекратилась. Вместо звука накатила ужасная боль, от которой все вокруг сделалось раскаленным и белым до такой степени, что появилось уверенность, это именно его страдания заставили мрак расплавиться в неузнаваемое и непознаваемое. И тотчас же пришло внезапное облегчение, которое вливалось в Антикайнена, словно он пил его, как воду.

Надо было сделать только один глоток, чтобы вновь не унестись раскаленным потоком, чтобы снова услышать, как звучит капель, чтобы замереть на месте и не сползать в никуда, или в куда — чтобы все оставалось, как прежде, чтобы во всем мире существовало только это «кап-кап».

Тойво сделал глоток. Он не понимал, как ему это удалось — ведь у него, вроде бы, и тела никакого не было — но что-то где-то явно изменилось. Вернее, пошло иначе, нежели миллион лет до этого. Холодное и чуть сладковатое — что-то очень естественное для этого мира — оказалось в центре его ощущений и

разлетелось, вдруг, по всем его атомам, принося с собой и прохладу, и потворство покою, и крохотную искру жизни.

Мало — следует глотнуть волшебный эликсир еще, заполучить еще одну крохотную частичку жизни. Нельзя позволить страданию стать в ощущениях единственной доминантой. Никак иначе: доминанта — это то, что доминирует. А также играет в домино с доминиканцами. Смутный образ монаха-доминиканца, перешибленного гигантской костью домино «пусто-пусто» взорвался в мозгу, едва только успев возникнуть.

Снова откуда-то, словно бы издалека, раздалось «кап» — и Тойво сделал еще один глоток. Опять «кап» — новый глоток прохлады.

Сначала он начал чувствовать, что у него есть тело, и нормальное состояние его — не газообразное и даже не жидкое. Потом в это тело опять прокралась боль. Ну, не такая, чтобы заслонить собой все мироздание, но местами болело очень даже порядочно. Боль приходила и отступала, и теперь, звуки «кап-кап», казалось, управляли ею: в тишине было покойно, но каждый отголосок капели, словно бы, неизбежно возвращал страдание.

Антикайнен жил, но жизнь эта была сродни росту цветка: извне он принимал какую-то жидкость, столь полезную для себя, в себе он ощущал боль, а в прочем мире для него было только это «кап-кап». Так, вероятно, живут самые безмозглые растения, типа крапивы и лебеды с мокрицей. Наделенные же своим особым «цветочным» интеллектом орхидеи, бегонии или какие-нибудь калы, которые еще и цветками крутят, подглядывая за солнцем, воздух ароматизируют и соблазняют разных ворчливых пчел и прочих не менее ворчливых насекомых, чтобы те помогли им разобраться в насущном вопросе тычинок-пестиков.

Прошли десятки и сотни лет, и Тойво, совершая очередной глоток, вдруг, оценил, что у жидкости другой вкус. Помимо прежнего к нему было примешано что-то не вполне растворимое, что-то другое, что, без всякого сомнения, имело название «хлеб». Но его организм вовсе не отверг эту хлебную кашицу. Самым решительным образом организм заявил, что некоторые атомы в своей особой совокупности образуют его желудок. И этот желудок взвыл требовательно и призывно: «жрать давай!»

Это было несколько неожиданно, даже боль поспешно ушла в неизвестном направлении — скорее всего, затаилась где-то поблизости. И Тойво понял, что где-то есть холод, где-то — тепло, а желудок воет, как мартовский кот. Вероятно, такой вот был триумф — организм начал пробуждаться.

И пробудился бы, да вернулась боль, потом звуки капели, а потом все исчезло.

Еще несколько раз Тойво глотал хлебную кашицу, запивая жидкостью, принимал страдание, слышал и вновь прекращал слышать «кап-кап». А потом на него обрушилась мысль: «Что это?»

Ответа, конечно же, найти не удалось, зато желудок замолчал, весь удовлетворенный, или же наоборот — потрясенный.

«Что это?» — опять возникло в голове.

«Mika, mika, mikaaaaaaa», — слово начало гулять внутри его сознания, отражаясь, как эхо в горах, от стенок узилища этого самого сознания. Тойво выяснил, что у него есть голова. Действительно: где еще может прятаться сознание? У некоторых, вероятно, в заднице. Но у него — определенно в голове.

«Tama on», — прошелестело и угасло.

Голова начала раскалываться от боли. А еще спина и рука. Живот, явно потрясенный соседством со столь важными органами, затих — вероятно, переварив, между делом, все, что ему было нужно переварить.

Тойво провалился в нереальность, однако на этот раз не в пустую, темную, или же раскаленную. Что-то мельтешило на грани его восприятия, что-то дергалось и дрожало.

«Там», — ему показалось знакомым это слово. Эх, еще бы пару глотков, и он определил бы, что же «там»?

Ого, да у него голова уже полна мыслей — сумбурных, бессвязных, бредовых, обрывочных, но все-таки о чем-то думалось! Трудно было уцепиться за них и понять смысл, но это уже шаг вперед. А там — что было там? Там было прошлое. И боль эта вся из прошлого.

Тойво постарался напрячься и застонал. И тотчас же расслышал слова, произнесенные другим человеком:

— Спокойно, паря, все у тебя будет хорошо. Попей-ка еще водички.

Чужой голос взволновал Антикайнена, потому что он осознал, что не один в этой вселенной, что есть еще люди. И в то же самое время у него возникла твердая уверенность: он один в этом мире. Больше нет и никогда не будет рядом с ним Лотты. С пониманием этого дальше жить решительно невозможно, нельзя и, в общем-то, ненужно.

Он сделал еще один глоток из поднесенной к губам оловянной кружки и со вздохом замер. Его дыхание сделалось мерным, и Антикайнен уснул.

— Ну, вот и замечательно, — сказал голос.

А где-то во сне к Тойво пришел на своих козлиных ногах Пан. Он коротко хохотнул своим блеющим голосом и внезапно стал

очень серьезным. Такого Пана Антикайнен не помнил никогда. Конечно, и раньше, и сейчас в реальности подобных визитов можно было усомниться, но вот в памяти образы, навеянные то ли богатым воображением, то ли погодными условиями сохранились навсегда.

Как и лик Архиппы Пертунена, рунопевца, привидевшегося однажды в яме посреди зимнего карельского леса, тоже был легко узнаваем: вон он стоит за козлоногим и щурит подслеповатые глаза.

Пан прикрывает обеими ладонями уши, Архиппа — рот. Тойво показалось, что ему в таком случае следует свои руки возложить на глаза. Тогда «обезьянья композиция» будет продублирована: ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу.

Да только к чему все это?

Антикайнен пошевелился и попробовал открыть глаза. Это тоже оказалось больно. Но он на долю мгновения увидел свет.

Свет тоже увидел его.

Местный свет, точнее, светское общество, было представлено двумя человеками. Первый человек — широкоплечий, с длинными волосами, с длинной бородой — сидел, прислонившись к стене возле изголовья жесткого ложа, на котором и лежал, собственно говоря, Тойво. Второй человек стоял, упираясь спиной в дощатую дверь, и смотрел куда-то, откуда весь свет и лился. Это был среднего роста молодой парень, тоже волосатый, однако пока еще не наделенный в силу своего возраста бородой.

— Смотри-ка ты — оживает! — с искренним восторженным удивлением сказал он.

— Ну, так живым положено оживать, — согласился с ним тот, что сидел. — Сейчас еще водицы попьет, хлебушка поест — и совсем оживет!

Антикайнен почувствовал, как к его губам прикоснулся край кружки, и с удовольствием сделал несколько глотков. Вот оно, стало быть, чем его поили — водой! Чистой колодезной водой! Или водой неизвестного происхождения, но от этого не менее вкусной. Да, без воды была бы полная хана!

Вскоре питие сменила кашица из размоченного, опять же в воде, хлеба. Да, без хлеба ему бы ни в жизнь не прийти в себя!

Спасибо добрым людям, что позаботились о нем, не дали пропасть. Жить не то, чтобы очень хотелось — жить теперь казалось вполне естественным делом. Даже в его состоянии, даже в его положении. А эти человеки говорили-то не на русском языке, но ему все равно удалось их понять. Они разговаривали на

карельском, в котором, после стольких месяцев в Карелии, Тойво разбираться научился. На каком диалекте — неважно, главное, что он понял речь. Собственно говоря, карельский — особенно его ливвиковский говор — это архаичный и устаревший финский язык, куда добавили шипящие звуки.

— Привет, — с трудом шевеля потрескавшимися губами, сказал Антикайнен.

— Здравствуй, добрый человек! — радостно ответил бородатый.

— Привет, привет, — сказал молодой.

Выдать вслух еще слова Тойво уже не мог — утомился. Да и держать глаза чуть-чуть приоткрытыми тоже не получалось. Нужен был покой, легкий прохладный бриз, запах сосен из приоткрытого окна, шелест моря, накатывающегося на песчаный берег, хрустящие накрахмаленные простыни и пуховое одеяло — как когда-то в другой жизни на карельском перешейке, где он восстанавливался после своей «контузии».

Додумать дальше Антикайнен уже не сумел — его опять повлекло вдаль, вдаль, вдаль. Опять Пан молча покивал своей кудлатой головой, и ему вторил рунопевец Пертунен. Почему они молчат?

Ну, во-первых, потому что они немые.

Однако раньше они болтали — будь здоров! Пан — не может быть молчаливым по определению, ну, а Архиппа сделался известным от способности использовать свой голос на все лады: и вопить благим матом, и шептать, и выводить оперные рулады.

Значит, потому что просто не хотят с ним разговаривать. Это — во-вторых.

Ну, на самом деле, это вряд ли — зачем же в таком случае они вовсе привиделись?

В-третьих, они просто не могут говорить, потому что имеется какая-то причина, этому препятствующая.

Тойво потерял слух? Возможно. Но лишь слух, как чисто человеческое чувство, потеря которого именуется в народе «глухотой». И это не так, потому что двоих людей, молодого и старого, он прекрасно слышал. Для того же, чтобы понимать Пана, уши не нужны.

Стало быть, препятствием может служить чисто объективный фактор. Например, само место.

А где он?

В памяти всплыла безобразная драка с людьми Бокия, потом поезд, потом поездка под открытым воздухом, и запах — то ли гнилостный, то ли морской. Был снег, и его по нему везли. Были сани, и они скользили по льду. Север. Чудесный север.

Мысль возникла и как-то не спешила пропадать. Родина Соловья-разбойника из былин про Илейко Нурманина? Святое место. Или — уже не святое место, потому что чудесные Пан и Пертунен лишились здесь частицы своего чуда?

Холмогоры? Здесь родился Михайло Ломоносов. Здесь предполагается бытность легендарной Трои. Проходимец и авантюрист Генрих Шлиман, говорят, откопал свою Трою в своем месте, но ему, жулику и малообразованному русскому немцу, было без разницы, где и что искать. А на историческое название принято не обращать никакого внимания.

Но почему Холмогоры?

После Кронштадтского бунта Дыбенко сослал матросиков, не утекших в Финляндию, именно сюда. Те, наивные, надеялись, что их авторитет — а большею частью это были именно те революционеры, что сформировали ударное звено во время, так сказать, октябрьского переворота — поможет им отмазаться. Но таков уж закон, что в первую очередь Революция пожирает тех, кто ее создал и воплотил.

Устроенный на манер финских и австрийских концентрационных лагерей Холмогорский пункт для русских под командованием латыша Опе, принял, конечно, всех, но места для всех, вопреки чаяниям, не хватало. Пертоминск, соседствующий населенный пункт, тоже не мог разместить всех «желающих» искупить свои ошибки перед Советской властью.

Тогда мудрый Опе сказал «в очередь, сукины дети». Контрреволюционеры нехотя повиновались, а потом еще принужденно пересчитались на первый-второй. Получилось около 1889 пар.

Тут, как снег на голову, в Холмогоры нагрянул сам Дыбенко, считающий своим долгом лично курировать побитых им кронштадтских бунтарей. А вместе с ним прибыл и Тухачевский, весь наглаженный, начищенный и даже наманикюренный.

— Ты что тут удумал, латышская твоя морда? — вместо приветствия спросил командарм. Какой из командармов задал вопрос? Да оба — в один голос спросили. Хором, можно сказать, пролаяли.

— Ай, много, однако, врагов тут собралось. Боюсь, ка-бы чего не вышло, — ответил комендант. — Хочу расстрелять приговором революционного суда половину, аккурат 1889 голов.

— Вот ведь какой гений революции выискался! — восхитился Дыбенко. — Даром, что немец, а службу свою знает! И подход творческий!

— Я латыш, — скромно потупил взор пузатый Опе.

— Кхе, — откашлялся Тухачевский. Сказать ему было нечего.

Он пока еще не очень доверял словам, полагая, что до дела они по объективным и субъективным признакам зачастую не доходят.

— Почему такое гадкое число? — развил свою мысль Дыбенко и встопорщил усы. — Для ровного счета две тысячи расстрелять! Революционная, понимаешь, строгость и справедливость!

— Гениально! — в свою очередь восхитился Опе.

Расстреливали матросов все, кому не лень. Только Тухачевский стоял в стороне и усиленно потел. «Пять лет воюю, но такой резни что-то не припомню», — сокрушался он, совсем не принимая в расчет одно прошлое событие, когда по его приказу газом травили мятежные деревни Воронежской губернии. Там, как бы, не на самом деле, там, как бы, дистанционно.

Дыбенко даже устал стрелять, сел на поезд и уехал в Петроград. Тухачевский, понятное дело — вместе с ним.

Ну, а Опе, когда цифра в две тысячи была достигнута, вздохнул: дело сделано. Высокое начальство укатило, инициатива оказалась похвальной, можно ждать поощрений.

Сел комендант у себя в кабинете, принялся кушать коньяк, привезенный Дыбенко из столицы и думать, какой он молодец. Хоть латыш, а мозги работают, как надо, и классовая беспощадность к контрреволюции выше всяких похвал. Думал, думал, да, вдруг, призадумался: а тела-то куда девать? Что с убиенными-то прикажете делать?

Две тысячи трупов — они не испарятся! И в речку просто так не выбросишь — только запрудишь ее.

Что делать?

Копать!

Запах разлагающихся тел выгнал жителей Холмогор и близлежащего Пертоминска из домов. А в концлагере все копали и копали могилы.

Тойво постарался принюхаться. Пахло камнем — и больше ничем. Также в свое время тянуло от подземного хода в Андрусово. Такой, наверно, запах должен быть и у бесконечности, потому что камень — это застывшее время.

Нет, Холмогоры, пусть там и концлагерь, отпадает. Да и Соловей-разбойник в другом месте промышлял. Ну, а место для ограничения свободы можно устроить где угодно. Что доходный, что казенный дом можно сделать также из чего угодно.

Даже из монастыря. Казенные кельи — те же каменные мешки за дубовыми дверями.

— Братцы, — с трудом проговорил Антикайнен. — Это Соловки?

— Соловки! — громко и даже весело ответили его соседи. —

Добро пожаловать!

2. Сокамерники

Мика Макеев всегда относился к жизни просто. Вероятно, прожив большую часть своей жизни в деревне Кавайно Олонецкого района, по другому было нельзя. Их семья жила неплохо, также, как и другие соседские семьи. Запасы на зиму, насущная еда, работа, которая помогала выглядеть достойно перед лицом земляков — все это был сегодняшний день. Завтрашний день будет завтра, вот завтра о нем и подумаем.

Так было заведено, и это создавало определенную гармонию и радость в жизни. Чего там за будущее переживать, коль оно сто раз может измениться? Думаешь об одном, а получается совсем другое. Или вообще ничего не получается.

Мика помогал матери и сестрам по хозяйству. Потом, подросши, начал помогать отцу в его ремесле. И настал момент, когда старший Макеев — Федор, сказал:

— Ну, ты уже сам можешь работу работать. Хорошо у тебя получается.

Это означало, что профессия бондаря-плотника у сына теперь в руках. Если голова против рук не пойдет, то копеечка в карман обязательно перепадет. И не одна, и даже не рубль, а гораздо больше. Мастеровые люди — это ценное качество общества, где таковые, как правило, и проживают.

Пришло время Мике задуматься о своей собственной семье. Время это пришло аккуратно в 18 лет.

Мировая война затухала, новая Россия зарождалась, Ленин сидел в столице и руководил своими коллегами. Ну, а те, в свою очередь, руководили народом. Стоял на дворе 1920 год. Еда была главным богатством.

— Пойду я, тятя, в Олонец работу искать, — сказал тогда Мика. — А то без работы жениться нельзя.

— Правильно, — согласился Федор. — Без работы за тебя никто и не пойдет. Ступай, сынок, да нас с маманей не забывай. Сестер и братьев — тоже.

Время было неспокойное, «племенные войны» следовали одна за другой. Трудно было жить в Олонце, приходилось по окрестным деревням заработок искать.

Мика работал, не покладая рук. Однако к женитьбе от этого ближе не стал. Во-первых, было не на ком — потому что свободное время, для того, чтобы осмотреться, отсутствовало напрочь. Во-вторых, все деньги так и тратились на еду, орудия труда и частые переезды.

Нет, случались, конечно, легкомысленные знакомства с

легкомысленными дамами. Но у тех помимо легкомысленности было еще одно качество, которое с женитьбой как-то не стыковалось. Это качество называлось «возраст». И ни Мика, ни дамы даже не помышляли о каких-то обязательствах.

— Шел бы ты, паря, на железную дорогу работать, — сказал ему как-то один коллега по ремеслу. — Им там теперь всюду сторожки надо ставить, вокзалы, пакгаузы. Нормированный рабочий день, питание и все такое.

— Ай, пойду! — сказал Мика, и ушел к Лодейному Полю, несмотря на еще одну разгоревшуюся «племенную войну».

Было ему уже девятнадцать лет, мир вокруг перестал блистать в розовых цветах.

Действительно, на работу он устроился и даже успел привыкнуть к дымящим поездам, с воем проносящимся мимо. Это когда идешь вдоль железнодорожных путей, удовлетворенный сам собой.

Но ходить долго не получилось.

С одного поезда, почему-то стоящего на путях без движения, выскочили четверо солдат, вооруженные винтовками, и споро побежали к Мике.

— Эй, — кричали они хором. — Погоди!

И он, дурья башка, остановился, хотя ни черта не разбирал по-русски.

Когда бондарь-плотник, востребованный на железнодорожном переезде возле станции Лодейное Поле, решил, что лучше удрать, удрать уже не получалось. Прикладом в грудь его сбили с ног, отчего воздух для дыхания тотчас кончился, но незамедлительно несколько мощных ударов ногами в живот волшебным образом утерянную, было, способность восстановили вновь. Мика вздохнул и попытался как-нибудь извернуться, но когда винтовкой бьют по голове, изворачиваться становится никак — наступает тьма.

Потом, конечно, тьма отступила, вытесненная пульсирующей болью в голове и непульсирующей — в остальном теле. Он пошевелился и сделал очень смелое предположение: раз руки-ноги шевелятся — значит, кости не сломаны, а мягкие ткани поболят-поболят, да и перестанут. Вот только голову надо вылечить иначе ей очень трудно придется есть. В смысле — кушать. Голова — очень важный орган человеческого организма, чтобы обедать, завтракать и даже ужинать. Такая, блин, организация жизнеобеспечения.

Вдруг, Мика осознал, что вокруг него, а, точнее, под ним методично и размеренно раздаются звуки «ту-дых, ту-дых». «Поезд едет, рельсы гнутся, под мостом попы дерутся».

Он никогда не ездил по железной дороге. Даже на ремонтной дрезине ни разу не гонял. Но тут, сопоставив все факты — его нечаянную близость от какого-то поезда, звуки и легкое покачивание из стороны в сторону — в больную голову прокралась мысль: «Я нахожусь не там, где должен быть».

— Эй, — сказал он.

— А! — ответили ему тотчас же. — Михаил фон Зюдофф очнуться изволили.

Говорили по-русски, поэтому ни черта не понятно. Разве только имя.

— Меня зовут Макеев Михаил Федорович. Я работаю плотником на железной дороге.

Он бы с радостью показал свои документы, да ничего с собой, по обыкновению, на работу не взял. Разве что талоны на питание в деповской столовой. Ну, да там фамилии не пишутся.

Ну, а солдатам из арестантского караула, сопровождавшего первых «ласточек» в новую тюрьму для особых и опасных контрреволюционеров, было в принципе все равно. Важно было только одно: чтобы количество голов, загруженных в вагон, равнялось количеству голов позднее из него выгруженных. Таков закон чисел — почти арифметика.

Кто недоглядел, как этот офицерик фон Зюдофф удрал из-под надзора — было по большому счету уже не важно. Подвернулся на стоянке на переезде молодой карел — вот тебе и восстановление равновесия. А по фамилии все равно никто не проверяет — проверяют по головам. Арифметика!

Поэтому когда спустя трое суток Мику втолкнули в мрачную келью пустынного Соловецкого монастыря, он уже и сам начал привыкать, что теперь его зовут по-немецки.

— Здравствуйте, — сказал плотник, когда за ним с глухим стуком захлопнулась тяжелая дверь.

— Здравствуй, — ответил ему человек, причем ответил на том же языке — на карельском, ливвиковского диалекта.

Другой человек ничего не сказал: лежал и прикидывался мертвым.

Ну, а больше в келье никого не было.

— Проходи, присаживайся, — сказал первый человек, поднявшись на ноги — был он высокого роста с окладистой бородой, одетый во что-то, напоминающее церковную рясу, но изрядно уже поношенную и заштопанную в нескольких местах.

— Меня зовут Мика фон Зюдофф, — представился Мика.

— Да не может быть! — удивился бородач. — Я бы так тебя ни в жизнь не назвал.

— Ну, начальству виднее, — пожал плечами Мика и тут же

полюбопытствовал. — А как бы ты меня назвал?

— Ну, я бы сказал что-то типа «Макеев Михаил Федорович», — ответил собеседник и протянул для рукопожатия руку.

— Вот это да! — восхитился парень. Не скрывая восторга, он энергично ответил на приветствие. — Это у меня что — на лбу написано? Откуда ты знаешь?

— Я, брат, многое знаю, — улыбнулся бородач. — Из того, что мне нужно знать. И еще больше не знаю из того, что хотелось бы знать.

Мика не отпускал руки странного человека и глядел на него, словно бы с вопросом. Так иногда собаки смотрят, когда им чего-то непонятно.

— Ах, да, — кивнул головой тот. — Игнатий. Можно — просто Игги.

— Поп? — спросил Мика.

Игги усмехнулся и еле заметно помотал головой из стороны в сторону.

— Когда-то послушником был, потом — монахом, затем — иеромонахом Игнатием, — ответил тот. — Теперь вот — просто Игги.

Мика осмотрелся вокруг и не заметил ничего, чтобы порадовало его взгляд. Две высокие, словно бы, монолитные скамьи под небольшим зарешеченным окошком. На одной лежит похожий на покойника парень. Каменные стены, каменный пол, сводчатый каменный потолок. Каменный мешок. Пара побитых оловянных кружек, миска с водой — кухня каменного мешка. А вот туалета каменного мешка, типа ведра с крышкой — нету.

Значит, выводят по нужде. Не арестантской нужде, конечно, а по нужде тех, кто с другой стороны этой массивной двери.

И еду они же приносят. В самом деле, должны же страдальцы что-то есть!

— Да, интерьер не радует изобилием уюта, — протянул Мика.

— Ну, зато зима кончилась, и вместе с ней морозы, — сказал Игги. — Жить можно.

— А это кто на лавке?

Бородач подошел к неподвижному телу и посмотрел на него взглядом, в котором отчетливо читалась жалость. Он положил свою ладонь тому на лоб и сказал:

— Это хороший человек. Плохо ему.

— Почему? — спросил Мика.

— Да ничто его особо в этой жизни уже не держит, но и смерть к нему пока подступиться не может никак. Хотя пытается.

Парень отметил про себя, что ни имени, ни фамилии бесчувственного человека Игги не назвал. Видать, действительно, не все в его возможностях.

— Я его поить пытаюсь, да кашицей из хлеба кормить, чтобы силы поддержать, — добавил бывший иеромонах. — Нельзя ему пока помирать.

В тот день их из камеры никуда не выводили. Впрочем, и никакой еды тоже не давали. Словно бы забыли об их существовании.

На самом деле вновь прибывшие вертухаи, доставившие несколько десятков арестантов, братались с теми красноармейцами, что уже были здесь. Пока у них в обычаях было только пить водку. Пока у них в обычаях не было глумиться над страдальцами-сидельцами. Этот навык приобретается сам по себе по мере обрушившегося скотства. Причем, что характерно — надзиратели и прочие сотрудники тюрьмы, не говоря уже о самом начальнике — делаются скотами гораздо быстрее, чем угодившие под их «надзор и опеку» несчастные заключенные. Таков уж закон природы, мать вашу. Вернее — матери вашей.

Только поздним утром следующего дня, когда Мика уже был готов лопнуть от одолевавших его позывов, дверь в их камеру открылась, впустила ядреный перегар, какой-то нечленораздельный лай и пренебрежительный жест рукой: «выходи, мол».

— Фашистыыы, фашистыы, - подвывал Мика, чудом дотерпевший до нужника.

Игги же держался с достоинством, хотя и ему пришлось несладко. А пока еще не пришедший в себя Антикайнен по причине приостановки у него многих жизненно важных функций организма и вовсе пренебрегал туалетом. Точнее, почти пренебрегал.

Сразу по возвращению в камеру напомнил о себе голод. Он завыл на два голоса двумя пустыми желудками.

— Нехорошо как-то, — заметил Мика. — Кормить нас должны, мы же не в состоянии сами себя обеспечивать продуктами.

— Не знаю, не знаю, — пожал плечами монах.

Однако обед все-таки состоялся: жидкий бурый суп, соленая подгнившая селедка, картофелина и кусок хлеба. Меню на одного человека. На всех — помятая фляга с водой.

Их было трое, но Тойво есть не мог, поэтому его порцию делили по-братски. Разве что хлеб оставляли, ну и немного картофеля. Игги в бурде из супа разминал хлеб, добавлял в него толику картошки, и получившуюся жидкость понемногу вливал в

товарища по несчастью.

— Все польза ему будет, — говорил он. — Силы от этого не тают. Не особо прибывают, конечно, но и так хоть что-то.

Мика поначалу удивлялся: почему им дают какие-то помои? Их — что, специально делают?

Вообще, монах проявлял недюжинную смекалку и сноровку, будучи лишенным свободы. Он легко приспосабливался к любым условиям — во всяком случае, ни разу не возроптал и не пожаловался.

— И как это тебе удается? — спросил однажды парень. — Ну, будто тебе все нипочем. Господь терпел и нам велел?

Игги вместо ответа только пожал плечами и вздохнул.

В той далекой прошлой жизни, когда зловещий выстрел в Сараево скосил эрцгерцога Фердинанда, в разразившуюся Мировую войну угодил совсем молодой карельский парень. Родом он был из Александровской слободы, поэтому призыв в армию был культурный: повестка — проводы — полк Олонецких егерей — убытие к театру военных действий.

Глазом не успел моргнуть, а уже в Галиции. Уже нужно стрелять, уже нужно бежать, уже нужно окапываться. И снова — стрелять, бежать, окапываться. Разница только в том, в какую сторону совершать все эти телодвижения. Если к врагу — то наступление, если от врага — то, соответственно, отступление. Голова кругом пойдет.

Да еще вши, да еще сырость, да еще совершеннейше сволочное местное население.

Если генерал штаба Александр Андогский, составляя свои перспективы для войны в Афганистане писал, что «все население имеет ярко выраженную бандитскую наклонность», то про население Галиции можно было написать: «сволочи».

В этом убедился сам Игги, когда в очередном марше — то ли вперед, то ли назад — совершил роковую тактическую ошибку. Он отстал от своих. Впрочем, можно было посчитать и так: свои его бросили.

Дело-то было плевое. Дело-то было пустяковое. Схватило живот у молодого егеря — нешуточно схватило, никак не отпускало. Или в штаны кидай, или — в туалет типа сортир, призывно расположившийся в одном из дворов, мимо которого и был марш.

— Я - сейчас, — сказал он унтер-офицеру. — Я — минутку. Погодите.

Только кивнул головой командир. Беги, мол. Ну, а сами дальше пошли. Невелика птица — догонит.

Вышел Игги, точнее, его тогда звали совсем другим именем

— светским, из сортира в явно улучшенном расположении духа. Огляделся в поисках товарищей, да и рухнул, как подкошенный.

Так бывает, если кто-то недобрый огреет дубинкой сзади по голове. То ли хозяин туалета, то ли просто незнакомый прохожий — человечина с активной жизненной позицией. Сволочь галицкая, одним словом.

А Олонецкие егеря ушли дальше и думать забыли о потере своего бойца. Даже унтер-офицер не вспомнил. Куда там, если снова пришлось стрелять, бежать, окапываться!

Пленили Игги, упаковали в телегу и отправили в тыл. Да не простой тыл, а в австрийский. А вместе с ним несколько десятков жителей этой полузабытой галицкой деревни тоже отправили. Странное дело!

Вообще-то, не очень, чтобы странное. В деревнях как? Разделение в деревнях. Кто богаче, кто зажиточнее, а кто — не очень. Вот эти, которые «не очень», живут своей жизнью и грезят. Мечты их просты: как бы так сделать, чтобы прочие земляки жили хуже, чем они сами. Не нужно, чтобы сами жили лучше, нужно, чтобы вокруг жили хуже. Уж такой деревенский менталитет. Тем более, в Галиции.

Вот и пошла в приграничных с Австрией землях мода — выявлять «русинов», то есть, как бы, русских, ну, и прочих тоже. У кого можно что-то отжать — тот и русин. Даже еврей — тоже русин. Точнее, в этих местах евреев не проживало — жили жиды. А! Без разницы: жид — он завсегда русин!

Вот и попал Игги в обоз с несчастными деревенщинами. Побитые, растерянные и остро надеющиеся, что «господа австрийские офицеры непременно разберутся и отпустят их по домам». Ага, отпустят.

Жиды очень быстро в сложившейся ситуации сориентировались. Они по природной своей сущности очень легко могли отказаться от всего нажитого непосильным трудом за былые годы, лишь бы жизнь и свободу не отбирали. Справедливости не нужно, нужно всего лишь, чтобы их отпустили. А потом уже можно и снова в рост пойти — не в первый раз на этой Земле и в этой Истории.

Нежидам же важна справедливость. И за справедливость эту они готовы были и свои жизни положить, и жизни своих близких. Эх, русины!

По мере приближения к конечной части их маршрута становилось понятно, что господа австрийские офицеры, которые встречались все чаще и чаще, вовсе не склонны в чем-то разбираться. Вот отобрать что-то для себя полезное — это пожалуйста!

Все жиды дорогой куда-то рассосались, а пожитки «русинов», что были впопыхах схвачены в то время, когда их самих схватили, таяли. Игги смотрел по сторонам и на ус наматывал. Имущества у него с собой не было ни грамма, скатку шинели отобрали еще в месте пленения. Поэтому материально он никого не интересовал. А то, что он был солдатом вражеской армии, может быть, даже знающим «военную тайну» — на это всем было глубоко наплевать. Не били — и то ладно!

Ехали они, ехали — и, наконец, приехали. «Что за станция такая — Бологое, иль Каховка? А оттуда говорят: это, братцы, братцы, это»…

Талергоф.

И стоял Талергоф уже с осени 1914 года. И смердел Талергоф, стало быть, уже почти два года. Не вонял, не источал дурностный запах, а именно — смердел. Потому что смерть была в Талергофе, потому что жизни не было в Талергофе. И находились внутри Талергофа одни смерды.

Снаружи, правда, были господа австрийские офицеры.

3. Талергоф

Талергоф — это поле, некогда поросшее травой и взметнувшимися к небу редкими деревьями. Вокруг колючая проволока и толстые австрийские солдаты, а также установленные на подиумы пулеметы «Максим». А за полем — глубокий овраг, словно земля здесь специально треснула, являя взору ход в саму преисподнюю.

Теперь взору Игги представилось то же поле, только полностью лишенное растительности. Ни травинки, ни былинки. От деревьев и кустов не осталось даже воспоминания. Всюду грязь, какие-то норы, и смерды, чьи тела еле шевелились там и сям. Так обычно копошится что-то в чем-то — это уже в меру воображения.

И еще столбы, установленные через равные промежутки с австрийской педантичностью. А на столбах — останки смердов, те, что еще не успели обвалиться наземь.

«Русины», что сопутствовали Игги, в один голос взвыли. Они были в полном ужасе и отчаянии. Да и сам пленный Олонецкий егерь испытывал точно такие же чувства.

На их голос откуда-то из-за невидимой части поля выдвинулись несколько человек — смерды, но до некоторой степени более живые, нежели те, что ползали в грязи. Одеты они были в совершеннейшие лохмотья, однако глаза их с интересом разглядывали вновь прибывших, явно оценивая и взвешивая. В смысле, полезности, взвешивая, а не в килограммах.

Талергоф — это один из самых первых в мире концлагерей. Самыми вторыми концлагерями сделались финские, возле Выборга и Лаппенратна, открытые в 1918 году. Отличие от немецких времен первой Мировой войны было в том, что они, и первый, и вторые, были приспособлены исключительно для гражданского на тот момент населения.

Талергоф — это лагерь смерти. Питание заключенных в нем узников не предусматривалось, как таковое, вовсе.

Венский вальс, Дунайские волны, культура и эстетика, литература и архитектура — всем этим гордились господа австрийские офицеры, на всем этом они воспитывали своих детей, не преминув возможности показывать всему прочему миру, что они и есть цивилизация. И именно они создали и поддерживали эту фабрику смерти, просуществовавшую вплоть до 1917 года. Именно их заслуга в том, что был такой Талергоф.

Впрочем, был да сплыл. Теперь, через сто лет, там аэродром и даже местные жители, что поблизости, не знают, а если и знают

— то не верят, что такое имело место быть. Цивилизация! Ханжеская и безмерно лицемерная просвещенная Европа.

Вброшенные за колючую проволоку новые страдальцы не были даже обысканы. Позднее Игги понял: нет смысла этим заниматься, потому что через день-два все мало-мальски ценное будет представлено перед скучающими взглядами австрийского караула. Бери, что хочешь.

Все население лагеря, как это водится в любом человеческом социуме, само собой разделилось на несколько категорий. Одни лагерники имели какой-то вес — опять же, не в килограммах — и авторитет. Другие лагерники такого веса и авторитета не имели, зато имели мнимое покровительство первых, что самым усердным образом старались не потерять. И были третьи лагерники — люди, опустившиеся до полного животного состояния.

Как уже упоминалось, на продуктовом довольствии у гуманного австрийского правительства никто из несчастных «русинов» не состоял. Однако тем или иным способом еда в лагерь все равно просачивалась. В самом деле, без еды человек имеет обыкновение умирать, предварительно помучившись.

Еда была главной валютой за колючей проволокой. Власть человека с лишней булкой под мышкой могла быть поистине неограниченной. При условии, конечно, что никакая другая власть не наложит свою загребущую лапу на эту самую булку.

Вот от этого и разделение, брат. Вот и попробуй выживи, брат.

Игги, как не имеющий за душой ничего мало-мальски ценного, ничей интерес не возбудил: иди, парень, куда хочешь. Отдыхай под открытым небом, только воздух особенно не нюхай.

Он и пошел, не пытаясь прислушаться к крикам, оставляя их за своей спиной. Также осталось позади разнузданное мародерство, за которым лениво наблюдали холеные австрийские воины.

За первые сутки, которые Олонецкий егерь провел здесь, им было сделано несколько выводов.

Первый: ни на кого полагаться нельзя.

Второй: бояться уже нечего.

Как в каторжной присказке получалось: «не верь, не бойся, не проси». Примерно то же самое и в Библии было — касательно отношений между людьми. «Не верь другу, не полагайся на приятеля». С Господом — все по другому, в него верить надо, без Веры — нету жизни.

Однако на Господа надейся, а сам не плошай.

Пока есть силы — надо убираться отсюда. В общество Талергофа Игги вливаться не собирался.

Самая главная ценность в лагере — еда — добывалась несколькими способами.

Если на воле оставался кто-то близкий, не отказавшийся от случившегося вне закона родственника или товарища, то это был самый легальный путь. Австрийцы, как правило, не препятствовали передачам продуктовых корзинок. За счет таких счастливцев жили несколько человек. Ну, и сам страдалец, которому посчастливилось иметь верного человека. Его берегли и охраняли, потому что никто, даже самый безголовый сиделец, не хотел рубить сук, на котором чуть-чуть подкармливались особо приближенные.

Но таких было мало. В основном оболваненные пропагандой государственности граждане охотно забывали некогда близких людей. Им сказали: «враг», значит — враг. Проще живется, когда киваешь на систему. Лицемерие, обычное дело.

Второй способ получения еды — это менять ценности с вновь прибывших на продукты. Охранники этому, понятное дело, тоже не препятствовали. Они, в основном, этим делом и промышляли.

И третий способ — поставлять тем же самым австрийцам женщин, что еще не успели опуститься до совсем непривлекательного состояния. Поэтому каждая новая партия «русинов» была любопытна, как лагерникам, так и их охранникам.

Последние устраивали по этому поводу рейды внутрь территории, огороженной колючей проволокой. Они высматривали себе то, что считали по праву своим. Сообщив о своем выборе лагерным заправилам, которые позволяли себе поторговаться, расхваливая вновь прибывший «товар», австрийцы уходили прочь.

Ну, а вечером их навещали «избранницы». После визита несчастных дам охранники выдавали им на руки оговоренный набор съестного и чувствовали себя при этом превосходно. Во всяком случае угрызениями совести перед своими фрау, которые растили по домам будущих защитников или защитниц устоев страны-преемницы Римской империи, они не испытывали. Алягер ком алягер.

А как же Женевская конвенция?

Сам дурак! Вот и все, блин.

Иной раз охранники заходили на лагерную территорию по рабочей, так сказать, надобности. Кто-то кого-то сдавал, обвинял в неблагонадежности и подстрекательстве, а это дело без внимания оставлять было нельзя. Для этой цели и были приспособлены специальные столбы. На них через устроенный крюк была пропущена веревка с петлей. В петлю пихалась шея

подозреваемого смерда, и дюжие австрийцы тотчас же поднимали несчастного посредством этой веревки на метр от земли. Крепили канат, чтоб не сползал, и оставляли узника дрыгать ногами, пока тот не удавится до смерти. В таком положении несчастному повешенному было уготовано висеть дни и недели до тех пор, пока останки сами не обвалятся наземь. В назидание всем прочим лагерникам!

Вот такой был Талергоф. Вот такие были люди.

Игги понимал, что еды ему наготове никто не даст, а питаться корешками, червячками и жуками, которые добывались из земли, он не планировал. К слову, те смерды, что опускались до подножного корма, загибались даже быстрее тех, кто просто голодал. Не приспособлен человеческий организм усваивать белок от насекомых.

Для того, чтобы убраться из Талергофа большого ума не надо. Надо иметь ум, чтобы в первые же минуты, часы, дни, да, вообще — никогда — обратно не загреметь. То есть, иными словами, никто — ни австрийский бюргер, ни австрийский солдат — не должен заподозрить в увиденном им человеке беглеца.

Игги нашел кусок стекла от некогда разбитой бутылки. Никакой стратегической задачи этот осколок выполнить не мог: ни оружие, ни подручное средство — ничего. Но Олонецкий егерь обмазал щеки грязью и осторожно, стараясь не порезаться, выскоблил их острой стеклянной кромкой. На ощупь получилось вполне ничего себе. Вроде, как и бритый. Вроде, как ухоженный. А усы и бородка — может, мода такая! Вон, многие австрияки старательно растят у себя под носом кайзеровскую поросль.

Также он подобрал старый ломаный-переломанный зонтик, который за полной ненадобностью не привлекал ничье внимание. Все, что ему было нужно от этой рухляди — три спицы, да полоска дождевой материи. Этого добра нашлось.

После полудня, как Игги выяснил, австрийские охранники лагеря совершали ежедневный осмотр вверенной им территории. Пара вертухаев проходила устоявшимся маршрутом, внимала просьбам, сделанным авторитетными смердами, и не внимала просьбам доходивших до предела прочих смердов. Они оценивали, когда выносить в овраг трупы тех, кто уже дошел — в самом деле, не каждый же день этим заниматься! Собралось полдюжины — тогда можно организовывать их вынос. Единичные тела не выносятся, здесь не богадельня! Также иной раз охранники брали на себя миссию казни кого-нибудь из неблагонадежного отребья на устроенных для этого столбах. Словом, австрийцы бдили службу — будь здоров!

Игги решил дожидаться полудня у одного из столбов,

расположенных в таком месте, неприглядном даже для Талергофа, что здесь никто из несчастных «русинов» старался не задерживаться: сырость какая-то из-под земли, жирная грязь в любое время года, комары, опять же, самого подозрительного вида толкутся.

На столбе висела часть тела казненного человека. Другая часть уже отвалилась и куда-то исчезла. Или, быть может, здесь покарали смертью какого-то несчастного инвалида.

Долго ждать не пришлось: скоро солнце, пробивающееся через облака, отразилось на начищенных до блеска австрийских касках. Два охранника, каждый стараясь выглядеть важнее другого, неторопливо шествовали в установленном маршрутом направлении. Их никто из лагерников не сопровождал, потому что лишний раз оказываться на виду у власть имущих — это лишний раз рисковать своим здоровьем.

— Иншульдиген зи битте, — появился перед очами австрийцев Игги. — Извините пожалуйста.

— Вас? — удивился первый. — Что?

— Вас? — возмутился второй.

Охранникам было непривычно, когда с ними разговаривали без разрешения.

— Гибен зи мир, битте, айн сигарет, — сказал Олонецкий егерь. — Дайте мне, пожалуйста, одну сигарету.

— Вас? — еще пуще удивился один, а потом издал короткий вздох.

— Вас! — начал закипать от ярости другой.

Если бы он не был так отвлечен на свою вспышку праведного гнева, то, без сомнения, заметил бы, что его товарищ после вздоха неподвижно замер, и руки и ноги у него начали мелко-мелко подрагивать.

На самом деле он уже был мертв, а едва заметная дрожь — всего лишь агония.

Просто незаметным для австрийца и очень резким ударом руки Игги вогнал пику через плотную ткань мундира в печень и снизу вверх пронзил сердце. Понятное дело, что пика сама по себе из воздуха не появилась, она была изготовлена из тщательно заточенных о камень спиц старого зонтика, туго-натуго перетянутых материей того же зонта. Получилось некое колющее одноразовое оружие.

Пока эта самодельная пика была в ране, не наступало резкого падения давления крови. Это способствовало тому, что тело все еще не лишалось возможности оставаться в вертикальном положении, то есть, на ногах. Мышцы работали, но голова — решительно и бесповоротно — нет.

Игги не стал терять время. Доли секунды после удара пикой ему хватило на то, чтобы метнуть заготовленный загодя камень, норовя угодить возмущенному охраннику в середину лица — чтобы крови было больше. Именно разбитый нос мог отвлечь австрийца от немедленного сигнала тревоги. Егерь не знал, каким образом он подается — то ли свистком, то ли гонгом, то ли фальцетом — но сигнал обязан был быть.

Немедленно после броска камня он выхватил из-за пояса заколотого им охранника притороченный штык, без которого не обходился ни один уважающий себя воин Австро-Венгерской империи. И хотя трехгранный клинок не был приспособлен для того, чтобы резать им врага, но Игги все же полоснул самым кончиком оружия по яремной вене ошарашенного метким попаданием австрийца.

Все это произошло настолько быстро, что никто из противников не успел осознать свою безвременную кончину, а никто из смердов, как бы близко они ни находились — это заметить.

Теперь дело было за малым: сбежать из лагеря.

Бесцеремонно содрав с австрийца с перерезанным горлом его испятнанный кровью мундир, он подтащил само тело к столбу и привязал его вместо полуистлевших останков несчастного казненного. Когда же сорвал с трупа портки и обувь, то отличить бывшего надзирателя и палача от русина сделалось невозможно.

После этого он вернулся к продолжавшему стоять с выпученными глазами первому австрийцу.

Егерь бережно уложил его наземь, стараясь не попасть в грязь, и принялся разоблачать от одежды. Крови не было, пика пока еще была в ране, так что мундир, галифе и сапоги должны были оставаться настолько чистыми, насколько это было возможно.

Игги сбросил с себя свою уже несколько изветшавшую одежду и переоделся в форму охранника. Несмотря на то, что штанины и рукава оказались несколько короче, чем должно было быть, обувь пришлась точно впору. Это было самым важным: волка ноги кормят, а каторжанину свободу дарят.

Егерь напялил себе на самые глаза каску, а вторую утопил в грязи, вбив ее туда каблуком. Лишнюю одежду, чтобы не привлекать ненужного внимания нечаянных смердов, приблудившихся в этот закуток лагеря, он запихал под рубаху тела, привязанного к столбу. У того получился большой живот, что было совсем нетипично для страдальцев Талергофа. А, плевать!

Пику с заколотого он тоже вынимать не стал, прислонив и

это тело к столбу.

Для неискушенного наблюдателя было видно, что кто-то толстый казнен, а кто-то в исподнем белье стоит рядом и смотрит вдаль. Сюрреалистично. «Талергоф для всех один» — пожалуй, лучшее название для этой картины.

Но это было всего лишь полдела. Следующей задачей — выбраться за колючую проволоку — надлежало заниматься этим на глазах у всех: и смердов-русинов, и австрийцев-охранников.

Положим, лагерные страдальцы — это не проблема. Вот что прикажете делать с тем пулеметчиком, что сидит на вышке и зорко глядит по сторонам? От ворот Талергофа до ворот на свободу — огороженный колючей проволокой коридор, весь в секторе обстрела. Одной пулеметной очереди достаточно, чтобы покрошить в капусту любого, кто окажется здесь без спросу и разрешения.

При мысли о капусте заурчало в животе, да так сильно, что, казалось, эхо принялось гулять между ним и двумя мертвыми охранниками.

Игги поспешил прочь.

Ворота из лагеря запирались на обычный амбарный замок, ключ от которого был у него в кармане. Впрочем, как и другой ключ — от других ворот.

Беглец начал возиться с замочной скважиной, переминаясь с ноги на ногу.

Его замешательство и суетливость не укрылась от внимания солдата с вышки. Тот развернул пулемет в сторону первых ворот.

Правильно, по инструкции: если что-то непонятно, то сперва надлежит навести оружие. Разбираться можно чуть погодя.

Игги переминался с ноги на ногу и, наконец-то, отпер замок. Чтобы закрыть его за собой понадобилось гораздо меньше времени. Сделав это, он помахал одной рукой пулеметчику, а второй схватил себя за живот.

Каска была одета на самые брови, так что различить, кто скрывается под ней, с такой дистанции было сложно. Однако по Уставу караульной службы важно было убедиться, что все в порядке. И пулеметчик что-то пролаял со своей вышки.

— Штрудель! — закричал в ответ Игги. — Шницель!

И погладил себя по животу, который при этих словах заревел, как мартовский кот.

— Какен! Цигель! — изо всей силы застонал беглец. — Какать! Быстро!

И, не дожидаясь разрешительной команды, устремился на чуть согнутых в коленях ногах ко вторым воротам.

Пулеметчик не сразу сообразил, но сообразил все-таки.

Наверно, это был просто очень тупой пулеметчик. Хорошо, хоть огонь не открыл.

Он что-то пролаял в ответ и гаденько хихикнул.

— Шнапс, — добавил он и повел стволом пулемета в сторону.

Пронесло! Открывая второй замок, Игги отметил про себя, что он очень хорошо вжился в роль и теперь ее предстоит сыграть до конца. Если, конечно, хватит сил и терпения. Штаны, даже трофейные, пачкать не хотелось. Но до чего же не моглось!

С подвыванием мелкими перебежками, перемежая их мелкими шажками, он устремился к ближайшим кустам. Силы оказались распределены ровно на то, чтобы достичь заросли и кое-как скрыться за листьями и сучьями. Но сверху он все еще был, как на ладони.

— Ауф, шайзе! — прокричал пулеметчик и для пущей достоверности своих самых возвышенных чувств, сплюнул вниз.

Игги ушел в кусты с головой, а вышел из них уже в пределах родной Олонецкой губернии.

Правда, времени с его побега из Талергофа прошло уже преизрядно. Да и одежда австрийского военного покроя превратилась в потрепанное крестьянское повседневное платье. И осень стояла — будь здоров!

Он решил не возвращаться к Олонецким егерям — все равно уже переведен в ранг военных потерь со всеми вытекающими из этого последствиями. Слово «дезертир» тоже никак не угнетало и не вызывало стыда и чувства позора.

Игги выменял еще в Галиции свои австрийские шмотки на простую одежду и еду. Потом та же участь последовала для трехгранных особо прочных штыков, ценность которых в крестьянском укладе трудно было переоценить: колоть свиней, быков и прочую живность. Зато к дому живым добрался.

А дома-то и не оказалось!

4. Дом

Когда кота где-то кормят, он считает, что там его дом. Когда собаке позволяют пару раз переночевать во дворе, она тоже начинает думать также.

Люди отчего-то устроены иначе: в тюрьме и пища, и ночлег — однако лишь у психически уехавших с этого мира особей язык повернется назвать это место домом. Конечно, это относится только к тем несчастным, которые терпят страдания. Иные, что придумывают страдания, вполне запросто могут назвать такое дело даже «санаторием». Ну, да и пес с ними, собаками, не о них речь.

Кстати, о собаках: если ты примешься кормить какого-нибудь приблудившегося пса, он непременно начнет считать тебя богом. Если то же самое проделать с приблудившимся котом — он начнет считать богом себя.

К чему это? Да к тому, что люди не собаки и не кошки, важное определение их жизни — это свобода. Те, кто таковую свободу пытаются отобрать — не люди вовсе, нелюди, так сказать.

На Соловках жил Соловей-разбойник, словом solvaja именовали вовсе не сладкоголосых птичек, а душегубов. Поразительное дело — здесь кто-то когда-то основал Соловецкий, так сказать, монастырь. Сюда, помыкавшись по прочим карельским монастырям и церковным домам попал и позабытый царем-батюшкой Олонецкий егерь Игги.

Вернее, не то, чтобы это случилось как-то естественно и непринужденно — он бы не отказался еще помыкаться — но вот так уж произошло. В отличие от Мики Фадеева и Тойво Антикайнена, на Соловки Игги пришел самостоятельно.

В Александровскую слободу, куда он добирался по всем европам, на самом деле он шел только потому, что идти, собственно говоря, больше было некуда. И чем ближе Игги подходил, тем меньше у него оставалось уверенности, что движется он в правильном направлении. Вокруг была война, вокруг было страдание и отчаяние, вокруг было правило: человек человеку волк. И это положение угнетало молодого парня: хотелось быть кому-то нужным, хотелось, чтобы и ему самому кто-то был нужен.

Но на деле людей он старался избегать — уж так ведут себя все беглые. И у всех беглых всегда существовало только два пути: первый — прибиться к таким же, как и он, лихим людям, и второй — прибиться к церкви в самом нижнем чине «послушника».

Конечно, существовал еще и третий путь, но он, как можно догадаться, был для психически уехавших с этого мира людей. В самом деле, только безумец может пойти сдаваться властям, чтобы вновь вернуться в места ограничения свободы. Зачем, в таком случае, вообще было бежать?

В Александровской слободе люди жили так, словно бы они всеми помыслами пытались выжить. Когда же такая цель ставится перед целым поколением, то куда-то теряется нравственность.

Игги тоже выживал, но в родных пенатах ему хотелось просто жить.

Не получилось, блин. Даже родственники, близкие и очень близкие, обрадовавшись, конечно, при встрече, потом опечалились. Дальше-то что?

Этот вопрос стоял и перед былым солдатом, и перед теми, кто его в солдатство направил. Как-то привычнее уже было жить вовсе без ушедшего на войну парня. Как-то простились с ним и, чего греха таить, даже похоронили. Вон он какой вернулся: могучий, дикий, глазами так и сверлит!

Эх, хорошо быть кошкой, хорошо — собакой, а человеком быть — не хорошо. Надо искать в себе то, что позволило бы и ему быть хорошо. Где начать поиски? Конечно, в Караганде. Но лучше в церкви.

Глупая мысль, конечно, но широко известная: попы ближе всех стоят к Богу. Может быть, к богу и ближе, но нисколько не к Господу. Господь живет у каждого в сердце и попы тут не причем.

Но молодой и заблудший Игги пошел в послушники, чтобы трудиться, чтобы искупать, чтобы то, чтобы се.

Введено-Оятьский монастырь, куда определил его случившийся в Храме имени Александра Невского священник, оказался вовсе женским монастырем. Но послушниками там приветствовались молодые крепкие мужчины.

— Работы много, лихих людей — еще больше, — сказал ему незнакомый поп. — Ты служивый, защитишь монастырское имение. Ну, и монахинь наших в обиду не дашь.

— Э, — ответил Игги.

— Верь мне, сын мой — все во благо. Шесть лет потрудишься, не щадя живота своего — рясофором станешь. Как говорится «Обещайся ты ехать в мой монастырь, если же на пути монастырь моих родителей — ты и туда заезжай!»

Пожал плечами Игги, представив себе долгий путь до монаха, имеющего сан священника, вздохнул и согласился: ай, пусть все пойдет своим путем — глядишь, и образуется жизнь.

Священник хлопнул меж тем бокал кагора, не предлагая Игги, подмахнул верительную бумагу и ушел по своим церковным

делам. А парень на всевозможном транспорте — гужевом, пешеходном и изредка механическом — ломанулся на речку Оять, где томились в монастырских стенах монахини, трепещущие от мыслей оказаться в лапах подлых китайцев или чехов, бродящих в окрестностях с революционными целями.

— Вот мой дом! — сказал он, едва переступил дверь гостевого дома при монастыре. Игги в это верил, потому что на тот исторический момент у него просто не было никаких альтернатив. И за эту, конкретную и настоящую, он был готов биться.

Здесь, если верить легендам, покоились родители святого Александра Свирского, каким-то образом скоротав свой век в женском монастыре. Значит, и ему, молодцу и егерю, не зазорно отбывать свой испытательный срок среди женщин, ну, или, кто они теперь есть. Китайцев валить — это завсегда пожалуйста. Эдакую сволочь к нашим святым местам и на пушечный выстрел подпускать нельзя.

Однако лишь только верительная грамота ушла к матушке, появился какой-то очень даже батюшка: борода лопатой, пузо, как арбуза, плешка, как орешка.

— Жрешь? — спросил он.

— Жру, — зачем-то согласился Игги, хотя по приходу удалось выпить только стакан чистой колодезной воды.

— Ну, так с дармоедами у нас разговор короткий, — батюшка взмахнул рукой и удивил нового послушника кулаком в ухо.

Удар у него был поставлен хорошо, поэтому Игги провел некоторое время, слушая ангельский хор, исполняющий ангельскую песню. Потом поднялся на ноги и коротко без замаха лягнул своего обидчика под живот.

Это было достойным ответом, потому как исполняющий роль батюшки человек завалился на выскобленные дочиста доски пола и начал шумно выдыхать пары алкоголя и чесночной колбасы.

«А как же любовь, прощение и всетерпение?» — подумалось Игги.

«Дурень!» — подумалось в ответ представителю местного духовенства. — «Церковь — это первейшая спецслужба любого государства».

В общем, место послушника осталось за молодым скитальцем. А то, что он, скорее всего, покинет Введено-Оятский монастырь и вновь отправится в скитание, не вызывало никакого сомнения. Не дом это, да и не может быть домом. Дом — где ты свободен.

Однако работы было много, как по хозяйству, так и с бандами китайцев, которых изгнали из Карелии местные жители. Но

китайцы очень быстро кончились — их почти поголовно истребили — а те, что не истребились, удрали на юг в степи, где еще некоторое время пытались выжить. Теперь, спустя девяносто лет, мы знаем, удалось им это сделать, либо нет.

Степень разочарования в послушничестве покрывалось возможностью читать. При монастыре была вполне приличная библиотека, в коей наряду с церковными трудами можно было обнаружить и Эдгара Алана По, и безымянные комиксы про сыщика Пинкертона, чья загадочная смерть от своего собственного укуса своего собственного языка, придавала этим комиксам пикантность и популярность. Знание — сила, а книга — источник знаний.

В общем, весь путь от послушника до иеромонаха занял у Игги шесть лет. Экстерном обучался, так сказать.

После Введено-Оятского был Свирский монастырь, затем Важеозерский, даже при Олонецких церквях, коих было много для столь заурядного Российского города, служил кем придется. И все бы ничего: возможность носить рясу давала, как бы, пропуск там, где обычный народ проверяли на предмет причастности к контрреволюции, нарушению закона, установленного очередной властью — да за легальностью такого ношения следили посредством своих подчиненных и, так сказать, волонтеров, церковные иерархи.

Если на воровство, прелюбодеяние и нарушение Заповедей, смотрели сквозь пальцы, то самозванцев отлавливали и, как правило, закапывали где-то возле церковных или кладбищенских оград. Суд православия был скор и суров.

А самым главным преступлением считалось стремление постичь Истину, отличную от той, что преподносилась. Или той, что в данный исторический момент считалась самой модной. Церковь всегда боролась с инакомыслием, будь то арианская ересь, будь то ересь стригольников, будь то даже подлый гностицицм.

Дезертиром себя Игги не считал, но государство, если бы оно сохранилось в том виде, что и в памятном талергофском 1915 году, при обретении им сана священника, пусть даже в качестве бессребреника иеромонаха, могло и обязательно бы посчитало иначе. Церковь сдала бы парня властям, те заковали бы его в кандалы и опустили бы на рудники гнить-погнивать, другим добра наживать.

Но в нынешнее время все переживали не самые лучшие времена. Мракобесы грызлись с просветителями, православные — с атеистами, а те пытались противопоставить себя разного рода сектантам и так далее.

«Если епископ получил свой сан, заплатив за него деньги, его рукоположение недействительно. Об этом в канонах черным по белому написано», — кричали сомнительного вида проповедники на соборных углах. С ними теперь никто не боролся, от церкви не отлучал. Их даже слушали одуревшие от революционных ветров крестьяне и хмельные солдаты.

«Попы по мзде поставлены, а митрополит и владыка по мзде же ставлены. Соответственно, все таинства, которые они совершают — недействительны. Священники — никакие не священники».

Вот, блин, такая вечная молодость! Игги наблюдал, как из приходов выводят и отпускают в лучшем случае на все четыре стороны попов, которые могли общаться с прихожанами. В худшем случае их тут же вешали, стараясь поглумиться — на осинах, либо просто резали или стреляли. А тот давешний батюшка, впервые встреченный им в монастырских стенах, стал стремительно расти в иерархии. И вместе с ним росли его прихвостни.

Революция в государстве не происходит в отдельно взятом институте. Она и в армии, и в образовании, и, черт возьми — в церкви. В Карелии начали выводить карельских священников. Это не значит, что таковых не было, а какой-то мудрый селекционер, вдруг, решил их вывести из отсталого, как считается, народа.

Это значит, что их начали выводить на «чистую воду», то есть замещать попами из Западной Украины и Белоруссии. А тут и хлысты голову подняли, провозглашая свой «шариат». Опять же, поэт Николай Клюев, которому не суждено было сделаться «иконой стиля» только по причине явной гомосексуальности.

— Но если такое происходит — значит, это кому-то выгодно! — на самой первой своей проповеди сказал начинающий иеромонах Игги в церкви Флора и Лавра, что в Олонецком селе Мегрега.

— Ане пойти ли тебе, голубчик, в Соловки, дабы прикоснуться к святым местам? — в тот же день спросил главный Олонецкий поп, родом из Ивано-Франковска.

«А не пойти ли тебе куда подальше?» — надо было ответить Игги, но вместо этого он промолчал, подумав только, что лучше бы, конечно, на Валаам. Но там была война, а к войне былой Олонецкий егерь испытывал глубочайшее отвращение.

Эх, ему бы не соваться на этот проклятый архипелаг, ему бы сопоставить все то скудное, что он знал, с теми реалиями, что вырисовывались! Да где там!

Человек гораздо быстрее верит обещаниям, нежели своим возможностям. Райские кущи, как правило, расписывают негодяи.

Геенну огненную — тоже негодяи. Нормальные совестливые люди вообще на обещания скупы. Они даром слова не тратят. Они как дадут в морду негодяю и идут потом по своим делам!

И это не так. Негодяи, как водится испокон веку, окружены болванами, а у этих болванов в руках оружие. И еще у них есть сакральное слово «ПРИКАЗ», которым они пытаются прикрыться от всех бесчинств, творимых и подразумеваемых. Поэтому негодяи не получают по мордам, поэтому они остаются политиками, полководцами и церковниками.

Да кем они только не остаются! Даже соседями, которые грезят о своем счастливом будущем. А потом, вдруг, выясняется, что эту новую жизнь они хотят построить за твой счет: паратройка предложений на мятой бумажке с ключевыми фразами «подстрекательские разговоры», «противоправная деятельность» и «неблагонадежность» — а большего болванам и не надо. Скрутят, побьют по организму всем, чем заблагорассудится, и отправят любоваться Соловецким архипелагом.

Именно туда, черт побери! Куда Игги сам по собственной воле и отправился.

Его не насторожило, что последний узник Соловков умер в 1916 году, что по традиции любые царские амнистии на тех несчастных, что угораздило зависнуть посреди камней Белого моря, не распространялись.

Монастырь на архипелаге, конечно, был. Только уклон у него был совсем не монастырский, спецификация, так сказать, очень специфичная для служителей церкви. Весь он состоял из узилищ.

Одна земляная тюрьма, «огромная, престрашная, вовсе глухая», как, лениво позевывая, говорил соловецкий архимандрит Макарий, была устроена в северо-западном углу под Корожанской башней. Под выходным крыльцом Успенской церкви знающие люди определяли место Салтыковой тюрьмы. Еще одна нора для арестантов находилась в Головленковой башне, что у Архангельских ворот.

Келарская и Преображенская тюрьмы, находившиеся: первая — под келарской службой, вторая — под Преображенским собором, как бы не считались подземельями, но на деле таковыми были. Яма, пусть и устроенная с оконцем к небу, ничем иным быть не может. Вырытая в земле нора глубиной в два метра, обложенная по краям кирпичом, покрывалась сверху дощатым настилом, который обкладывался дерном. Была еще щель, через которую подавали еду. И все — темнота, сырость, крысы и безвременье.

Порой во время церковной службы случившиеся на Соловках гости, высокопоставленные и не очень, слышали из-под земли

приглушенный вой в такт псалмам и песнопениями. Они пугались, но виду не казали: черти не могут вмешиваться в людские дела во время святых праздников в святом месте да с таким количеством святых отцов. Да и вообще — чертей не существует, и ангелов — тоже. Есть обрядность, вкусный и обильный стол, а также пьяная и бесконечная выпивка. А за деньгу малую в церквях сообщат лично богу, что наживаемое богатство, власть и безнаказанность — это одобрено, и принят дар в церковную казну, чтобы сделаться к богу еще ближе. Стать от него по правую руку, так сказать.

Но на самом деле это бывший матрос Никифор Куницын, обличенный в 18-летнем возрасте коллегой по матросскому ремеслу, как «приспешник диавола», бунтует. Воет псалмы, а ближайшие к нему крысы тоже стараются не подкачать и музыкально пищат. Пять лет его судили и пытали на материке, так что в яму он сел уже закаленным страдальцем: бился со всеми надсмотрщиками и стражниками, кого только мог достать руками и ногами, пел, когда было приказано молчать, и молчал, когда надобно было говорить. Так и жил, так и умер под Новый год, отмотав 22 соловецких года.

Или это последний кошевой Запорожской Сечи Кальнишевский голос подает, потому как никого и ничего боле ни в этом, ни в другом мире не боится. Богатый настолько, что за счет его денежного довольствия монахи в монастыре безбедно жили долгое время — именно поэтому церковь всячески противилась реквизиции денег в пользу царя (или царицы), ну и отчества, само собой. Кошевой прожил до ста шестнадцати лет и помер в своем рассудке и на своих ногах. Правда, зрения во тьме подземелья лишился, ну так это уже побочное явление, издержки тюремного производства, так сказать.

Ну, или декабрист Горожанский, за 19 лет своего срока успевший даже придушить подвернувшегося монаха. Ему тоже было на всех наплевать, и тоже жил бы до ста шестнадцати лет, да помер в 4-летнем возрасте. Очень буйный был.

Да мало ли кто еще мог выть в подземелье — чего им, «детям подземелья», делать-то еще было? А так — гостей хоть попугать.

Игги об этом узнал, едва только появился на Соловках, бумагу сдал подорожную и пошел снег убирать совместно с какими-то монахами. Они-то ему и поведали «байки из склепа». Они-то на следующее утро и произвели престранный «церковный арест» способного мыслить иеромонаха. Мыслить, вообще-то, можно, это не возбраняется, но только в отведенных для этого церковью рамках. А иначе — это уже «крамола»! Свят, свят, свят!

Хотя арест-то был уже, вероятно, прописан в подорожной —

постановление и решение. А он, дурень, сам исполнять наказание и явился. Надежда обрести дом обернулась обретением казенного дома.

Соловецкий монастырь — это жесточайшая тюрьма, где тюремщиками были сами монахи, а попы — тюремным начальством. Инквизиция? Да нет — трактовка веры такова. Когда теряется любовь, в душу заползает что-то другое. Не ненависть — равнодушие. То, в чем равны любые народные слуги любого института власти, то, что их объединяет, то, что их отличает от прочих.

5. Возвращение к жизни

Те, кто угодил в место, где у него решительно и бесповоротно ограничили свободу, испытывают странные чувства «какой-то вины». Ну, или ничего этого не испытывают, потому что они злостные нарушители моральных норм и прочих законов, установленных властьимущими. Ну, да это уркаганы, их берегут, их ставят в пример. Полицаи их уважают, а те уважают в ответ — одного поля ягоды.

Прочие же страдальцы, отболев известной тюремной болезнью «а меня-то за что?» в меру своего организма, точнее — в меру психической составляющей организма, тоже разделяются на две неравнозначные группы. Одни готовы принять все, что им, сердешным, суд назначил. Другие к такому положению дел оказываются не готовы.

И вот эти последние, на самом деле, очень прогрессивные люди, не все одинаковы. Кто-то борется, но неактивно — письма пишет, в голодовки привлекается, обращения какие-то к вертухаям придумывает. Словом, шевелятся, протестуют.

А другие, затаившись до поры до времени, вдруг отвернут голову охраннику или охранникам — и в бега. За ними, конечно, в погоню — но легко сказать, да трудно сделать. Не сдаются они, даже оголодав до костей. Нет у них другого выбора, потому что есть Вера.

— Пацаны, как нам отсюда выбраться? — спросил Антикайнен, едва удостоверился, что это действительно Соловки.

— Никак, — вздохнул Миша, он же фон Зюдофф.

— Надо осмотреться, — тоже вздохнул Игги. — Ты в себя приходи, там видно будет.

— А была эта самая — капель? — опять спросил Тойво. Вопрос этот зрел у него давно.

— Весной была, потом кончилась, — пожал плечами монах. — А что?

Тут дверь в камеру заскрипела. Точнее, конечно, засов с обратной стороны двери заскрипел, да только его сидельцам было не видно.

В келью заглянул красноармеец — весь перетянутый кожаными ремнями с маузером наголо. Соловецкое начальство постепенно с видом на перспективу начало менять монахов-вертухаев на солдат с одноименными функциями. Или же монахи, сбросив с себя ризы, добровольно облачались в гимнастерки.

Ну, так а что? Дело знакомое, а тут ветер времени вдул новость: монастырь закроют, тюрьму откроют. Не по церковным

же подворьям болтаться! Это несерьезно!

— Ку-ку! — строго сказал охранник.

— Ну, ку-ку, — хором ответили заключенные. В их голосах не было никакого энтузиазма. Конечно, первая мысль, которая приходит в голову, когда на тебя нацелен пистолет: «Вот пульнет сейчас, гад — и жизнь в своем расцвете неминуемо оборвется».

Но красноармеец стрелять не торопился, внимательно осматривая келью. Ствол маузера повторял все движения его глаз, будто тоже вглядывался. Наконец, признав свой осмотр оконченным, посетитель заговорил. Причем и дуло пистолета начало покачиваться вверх-вниз, словно бы в ритме произнесенных слов и предполагаемой пунктуации.

— Ну, — сказали охранник и его оружие. — Кто тут у нас?

— Мы, — ответил Миша, а Игги только пожал плечами. Тойво отвернулся.

— Я вижу, что вы! — согласились красноармеец и его ствол. — Где этот?

— Нету его, — произнес былой монах.

Визитеров почему-то рассердил такой ответ: маузер начал описывать в воздухе какие-то загадочные кренделя, похожие на восьмерки, а человек надул щеки и выпучил глаза. Его лицо налилось пунцовым цветом и было весьма близко к тому, чтобы посинеть.

— Ух, — сказал он. Вероятно, хотел добавить еще что-нибудь, но дыхание его пресеклось. Того и гляди, хлопнется на пол и откроет пальбу.

— Эй, — пришел к нему на помощь добрый фон Зюдофф. — Кого ищешь-то, страдалец? Смотри, кабы не лопнуть — а то забрызгаешь нас всех.

— Да я! — ответил красноармеец и навел маузер прямо в лоб Мише. — И ничего мне не будет!

Он действительно мог выстрелить. И, действительно, ничего бы ему за это не было. Разве что за потраченный патрон выговор без занесения в армейскую книжку.

— Эх, — сплюнул бесстрашный фон Зюдофф. — А еще карел. Ну, позволь, хоть письмо своим родственникам-баронам напишу. Попрощаюсь, так сказать. Напишу, мол, прощайте, братцы-графья и сестры-графини. А также графята и граверы. Утекла с меня жизнь прямо через дырку, которую сделал мне карельский монах, он же красноармеец Зябликов. Пусть он за это десять раз «Отче наш» прочтет. Омена!

— Сам ты Зябликов! — внезапно перестал целиться из своего зловещего пистолета охранник. — Я вступил в Красную Армию по душевному порыву. В нашей семье Прокопьевых испокон веку к

графьям плохое отношение. Знаешь ли ты, барчук, сколько лет мы в нищете и серости в нашей деревне прозябали? Советская власть мне все дала. Вот так!

Он даже в цвете начал меняться, вновь возвращаясь от бурой к нормальной красной морде лица. Что же поделать, коли у рыжих так завелось — бледнолицыми их особо назвать было нельзя.

— И где ж такая серая деревня-то была? А, Прокопьев? Поди, каторжная какая-нибудь.

Игги укоризненно взглянул на внезапно расхорохорившегося Мику, но тот уже не мог остановиться. Молчал, молчал — а тут, вдруг, прорвало.

— Деревня Алавойне, — зачем-то ответил красноармеец, хотя от него, в общем-то, этого не требовалось. Даже наоборот: по Уставу нельзя общаться с заключенными. Но то ли вчера изрядно выпили, то ли, наоборот — водки не хватило. Рыжий, по крайней мере, от стрельбы пока решил воздержаться — а это уже было кое-что.

Вообще, в ту первую СЛОНовскую весну 1922 года на Соловках в охране не было ни латышей, ни китайцев. Даже бывших ссыльных украинцев и белорусов не было. Только местные карельские русские, да перевертыши-карелы, вдруг, сделавшиеся тоже русскими. Это было плохо, конечно, но не настолько плохо, как наступит уже через пару лет и усугубится в последующие годы вплоть до 1939, когда СЛОН прекратит свое существование. Тогда уже будет не до национальностей, тогда уже среди охранников будет одна национальность — вертухай, которая и определит отношение между ними и зэками.

— Земляк, — почему-то криво улыбнулся Мика.

Прокопьев никак на это не отреагировал. Может, вспомнилось ему что-то из тех времен, когда он был еще обыкновенным деревенским пацаном, которого соседские мальчишки не любили за склонность устраивать маленькие подлости. Может, вспомнился отец, в сердцах бросивший «шел бы ты со своим путним Лениным куда подальше!» Серый был папаша, недораскулаченный. А если Ленин не путний, тогда — кто? Царь Николашка? Царица Керенская? Ну, и где они теперь? Нет, с ними не по пути, чтобы выбиться в люди. Путние люди это те, кто за путним вождем идут. Тогда и сыт будешь, и пьян, и даже нос в табаке.

Рыжий Прокопьев уже в детстве мечтал поступить на службу в полицаи. Конечно, не для того, чтобы за порядком следить, бороться за законность и прочее. Вовсе нет — полицаем можно было этот самый порядок устанавливать, придумывать свой

собственный закон — и никто не указ. Безнаказанность — вот что мнилось рыжему, хотелось вершить судьбы человечков, хотелось ими управлять.

Однако рожей не вышел Прокопьев: карелов на такую службу брали не очень охотно, потому как ненадежные они были людишки — то ли замороженные какие-то, то ли слишком сильно в башках у них сидела старая вера, которую и попы-то не могли истребить.

Но после переворота и последующих войн открылась новая возможность. И открыл ее, как ни странно, злобный и безжалостный начальник милиции Олонца Моряков. Его мужество при борьбе с финскими интервентами послужило своего рода рекомендательным письмом для определенных карел: если их как следует воспитать и оболванить, то можно использовать там, где иные национальности не всегда справляются с возложенными на них надеждами.

В милицию Олонца рыжий устраиваться не спешил, потому как, так сказать, вакансий на тот момент уже не было. С близлежащих деревень набежала голытьба, готовая «по велению сердца» продолжать дело изверга Морякова, павшего смертью храбрых. Зато от Красной Армии было заманчивое предложение поступить в вооруженную охрану. В вохре не нужно было бегать с ружьем в атаки и кормить вшей в окопах. Нужно было врагов доставлять из пункта, положим, «П» в пункт, положим «С». И никаких поблажек, и никакой жалости по пути следования!

Прокопьев этому дело обучился быстро и достиг определенного признания, за что сделался старшим караула. Вот тут судьба сделала определенный поворот и занесла рыжего в разворачивающийся на Соловецком архипелаге лагерь принудительных работ с последующим воплощением в Соловецкий лагерь особого назначения.

Как и некоторым его коллегам, собиравшимся сюда со всего Северо-Запада, Прокопьеву предстояло устанавливать режим, за которым должны были следить былые монахи-надзиратели, а также новые вольнонаемные люди, горящие желанием сделаться надсмотрщиками.

Вот почему слово «земляк», с какой бы интонацией его ни произнесли, не оказало на рыжего никакого эффекта. Он делал дело, целиком посвятив себя «путнему» человеку — Ленину. Ну, или еще кому-то из его окружения. И сам он тогда мог сделаться «путним».

— Хорош болтать! — строго сказал Прокопьев. — А где у вас тут еще один клоун?

В последнее время все люди у него разделились на три

категории: на «путних», на «человечков» и на «клоунов».

Он даже перестал размахивать своим маузером, видимо, определив степень опасности для себя ниже средней. Вообще, это был его первый опыт общения с соловецкими сидельцами, которые оказались не страшнее тех контрреволюционеров, что довелось ему конвоировать.

— А больше никто не приходил, — простодушно ответил Мика, отчего Игги улыбнулся.

Это не скрылось от внимания рыжего красноармейца, он опять побагровел.

— Спокойно, спокойно! Нас здесь только трое. Никого больше не приводили, никого больше не уводили, — попытался успокоить человека с маузером Игги.

— Я знаю, — пролаял Прокопьев, однако беситься дальше не стал. — Кто из вас с такой фамилией, типа — финской?

Мика хотел, было, представиться на немецкий лад, но под взглядом своего старшего товарища промолчал.

В это время Тойво подал свой голос.

— А что надо? — спросил он и добавил. — Я Антикайнен.

Совсем скоро по любому вопросу охраны зэки будут выдавливать из себя фамилию, имя, статью и срок. Но пока еще этого делать они не научились, да и не хотели учиться, вероятно.

Тойво ожидал, что красномордый рыжий красноармеец затеет разборки: почему не поднялся на ноги и прочее-прочее? Но тот повел себя по-другому.

— Короче так, — проговорил тот, скорее, официальным тоном, нежели издевательским или глумливым. — Через десять дней сюда приедет один очень ответственный товарищ. Ты должен к этому времени подняться на ноги. Будешь с ним встречаться — не на носилках же тебя к нему нести!

Мика фон Зюдофф настолько удивился, что открыл рот совсем не по-баронски. Даже Игги не мог ожидать такой вот полупросьбы-полуприказа. Ну, а Антикайнен ошарашенным нисколько не казался.

— Тогда еды нам троим нужно нормальной, да еще котелок горячего чаю три раза на дню, — сказал он.

— Ну, это как получится, — пожал плечами Прокопьев, убрал маузер в кобуру и, еще раз осмотрев всех заключенных, со скрипом закрыл за собой дверь.

Тойво смежил веки, словно опять обессилев, Игги сел на лавку, а Мика подошел к маленькому зарешеченному окну и посмотрел на тени облаков в небе. Когда человека лишают свободы, он не видит неба — он видит тени. А те несчастные, которые подобно английским арестантам отправлявшимся в

Австралию через океаны, смотрели за борт своих пароходов всегда видели только пену. И никогда — море.

Море и небо — удел свободных людей.

— Что это было? — спросил, наконец, Мика.

— Это был наш первый шаг на волю, — еле слышно, так и не открывая глаз, ответил Тойво.

— Всех? — спросил фон Зюдофф.

— Нет, не всех, — вместо Антикайнена сказал Игги. — Только тех, кто решится сделать этот шаг. Я правильно мыслю?

«Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.»

Тойво подумал, но не сказал, монах догадался, но не произнес вслух, а Мика не мог ни думать, ни догадываться: он жаждал действия. Ведь воля — это не синее море и белый пароход. Воля — это отпор чужому стремлению подчинить. Воля — это сила пойти против лицемерия, безразличия и трусости. Ну, в общих чертах, против именно этих трех столпов, на которых стоит любое государство. Еще более обобщенно — против государства, как такового.

Мика не привык мыслить масштабно, он не мог делать выводы, но именно сегодня, когда к ним в камеру заглянул рыжий охранник, ему, вдруг, показалось: люди, которые не могут жить без унижения себе подобных, и не люди вовсе. Их власть и показная властность не безгранична. Он сам, Михаил Макеев, двадцати лет отроду, готов действовать против этого злодейского нечеловеческого плана, ему нисколько не западло было бы схлестнуться с Прокопьевым в лихой рукопашной схватке, и никакие угрызения совести его бы не одолели. Это счастье — биться с врагом, пусть даже в безнадежной схватке.

Но враги затем и сбились в кучу, чтобы не позволить этой битве произойти. У, демоны!

— Эй, Мика, ты чего это расхорохорился?

— У, демоны!

Игги стоял возле парня, положив тому руку на плечо, а фон Зюдофф тяжело дышал и сжимал и разжимал кулаки.

— Не, так дело не пойдет: мы рождены, чтоб сказку сделать былью, — сказал монах. — Грудью проложить себе дорогу не получится. Иначе голову можно расшибить, да еще и найти на задницу приключений. Так?

— Так? — переспросил Мика. — Да не так. Лучше погибнуть свободным, чем жить, оставаясь рабом!

— Никто погибать не собирается, — чуть усмехнувшись, ответил Игги. — Только живой может противостоять дьявольскому злу, пусть даже и жить некоторое время придется в

кандалах. Дух-то всегда свободен. Дух-то всегда бессмертен. Мы не будем поддаваться отчаянью и, тем более, унынию. На все воля Господа. И мы это докажем всяким там рыжим вертухаям, и прочим злыдням, и даже самому главному злодею.

— А кто самый главный злодей?

— Глеб Бокий, — внезапно открыл глаза Антикайнен.

— Кто? — спросил Игги.

— Кто? — повторил за ним озадаченный Мика.

— Бокий приедет на Соловки через полторы недели, — сказал Тойво и тяжело вздохнул.

Никто из его сокамерников не вполне понял, что такое скрывалось в словах финна.

— Этот мужик и есть самый главный злодей? — попытался уточнить молодой парень.

— Не знаю, — ответил Антикайнен. — Не думаю. Подобных ему много. Только он всегда ищет. Но все тщетно, даже если он в чем-то преуспеет.

Он опять закрыл глаза и больше не произнес ни слова.

Мика посмотрел на монаха и пожал плечами. Тот в ответ так же беззвучно развел руки в стороны.

Тойво, будто бы, снова впал в прострацию. Можно было бы даже предположить, что на него опять накатила волна беспамятства, но на самом деле все как-то обстояло иначе. Красный финн пытался думать, но думы, как уже не раз бывало, путались.

Стены кельи расширялись, сводчатый потолок уплывал куда-то вверх, жесткое ложе под ним делалось неощутимым. Вокруг образовывалась самая пустая пустота. И вроде бы рядом кто-то есть, но вместе с этим уверенность, что никого нет, была уверенной. И настолько уверенной, что легко можно было уверовать: люди есть — их не может не быть, те же Игги и Мика — но они за гранью пустоты, а потому недосягаемы и невоспринимаемы.

Так же, как и Ховра Тойвута, которая как-то сказала: «Соловки, блин, принадлежат мне. И я их буду доить, как свои морские промысловые угодья». Умерла эта Тойвута в тысяче четыреста каком-то году. Но послужила прообразом злобной старухи Лоухи — такая же жадная, если не сказать больше — алчная. Карелка, блин, а стало быть — колдунья. Не бывает карелок не колдуний. Эх, Лоухи, Лоухи! Не Ховра — а другая, молодая и улыбчивая.

Зачем же Бокий-то сюда пожалует? Пустая это земля, соловецкая. Только страдания отсюда исходили, да страдания сюда и притягивались. Пытались монахи да церковники это дело

исправить, да где они — бескорыстные монахи да церковники? На одного бессребреника по тьме корыстолюбцев. Куда уж Соловкам до Валаама!

Был в пятнадцатом веке Савватий, Соловецкий чудотворец, был тогда же Герман, тоже чудотворец, да Зосима, опять же чудотворец. Все, как водится, преподобные и все трое могли творить настоящие чудеса. И творили, лицемерие гнали, а зло бороли.

Не просто так они на Соловецком острове собрались, не просто так ночами дежурили возле внутренних колодцев, не просто так Преображенскую, Никольскую и Успенскую церкви срубили. Не просто так звали они на помощь легендарного карельского бунтаря Рокача, который сумел сплотить вокруг себя всяких разных карелов всякого разного достатка. Конечно, позднее это дело признали бунтом, потому как не царев наместник поднял народ, а кто-то, кто и по-русски изъяснялся не вполне.

Помер в 1478 году последний чудотворец Зосима, а через год преставился и Герман. Савватий к тому времени уже давно почил, так как полученные неведомым образом травмы оказались несовместимы с жизнью. Выдающийся книжник игумен Досифей составил первое жизнеописание преподобных, потом это житие чуть-чуть подправили, ближе к войне с Наполеоном еще немного переправили, а к нашему времени уже вовсе выправили. Теперь там все покайфу, теперь чудеса понарошку, а царь и отечество — конечно же, великое-великое — самое патетичное и даже патриотичное.

А Рокач? Сделали ему волею Иоанна Третьего Васильевича царскую казнь — порубили по частям под предлогом, так сказать, «работы с карельским населением». И хотели еще что-то сделать — уже посмертно — но не получилось. Кто-то перебил вялое охранение, а части тела выкрал. До сих пор могила Рокача есть, до сих пор ее почитают.

Тойво внутренне поежился, словно ледяное дыхание тьмы прошлось вдоль его тела. Соловецкий архипелаг готовился к своему новому чуть-чуть позабытому старому. Ведь по сути с момента начала особого почитания Соловецкой обители среди монастырей Московской Руси, то есть с 1514 года, если верить хронистам, именно здесь начала твориться одно из самых ужасных надругательств над Верой, что была на Севере.

Только одурманенный тупым поклонением величия государственной идеи испытывает священный трепет на Соловках. Только несчастный религиозный фанатик ощущает чистоту и святость на этой проклятой не одним поколением

людей земле.

Антикайнен никогда не интересовался Соловецким архипелагом, но, блуждая между жизнью и смертью, впитал в себя какие-то знания, которые, может, и не нашли бы никакого документального подтверждения, но теперь были у него. Он просто знал и не хотел ничто никому доказывать.

Уж не за этим ли Бокий сюда приедет? Уж не обнаружил ли он, а, точнее, его человек Барченко, связь между Ловозером и Соловками?

Связь-то, конечно, есть — подземная. Так это каждый дурак знает, только никто, пусть самый умный, не знает, где именно эта связь и есть. У «дивьих» людей спросить никто не может. «Дивьи» люди берегут свое «диво», как зеницу ока.

Мысли Тойво настолько запутались, что из псевдо-беспамятства он плавно соскользнул в сон.

Рядом разлеглись по своим местам и тотчас же заснули монах Игги и барон Мика. На Соловках тоже надо было спать.

6. Организация

В тюрьме не просыпаются с первым криком молочницы. Туда молочницы заходят очень редко, разве что посидеть немного. Да и то кричат лишь в особых случаях: когда их принимаются бить.

Однако молоко в застенках — не то, чтобы сказка, не то, чтобы мечта — оно просто есть. И его можно есть, точнее — пить.

Поутру открылась дверь в келью, и насупленный военный без отличительных знаков в петлицах принес на подносе кувшин молока и ломти черного хлеба. Выложив поднос прямо на пол, он, не произнеся ни слова, закрыл за собой и только потом позволил себе выругаться на русском языке.

— Что он сказал? — спросил Мика.

— Сказал, что любит тебя чистой комсомольской любовью, — ответил Игги.

Тойво открыл глаза и прислушался к себе. То ли слух у него притупился, то ли перестал слышать самого себя, но чувствовал он себя лучше, нежели чувствовалось до этого последнюю неделю. Он был жив, и болевые ощущения как-то притупились, и в то же время стала понятна слабость организма. Слабость имеет обыкновение пройти со временем, если боль не вернется.

— Я ничего не пропустил? — спросил Антикайнен.

— Как раз вовремя, — сказал Игги.

— Стесняюсь спросить: молоко ты один будешь жрать, или как? — поинтересовался фон Зюдофф, уже прохаживаясь возле подноса, отчего сделался похожим на кота, подбирающегося к лакомству в виде деревенской колбасы, забытой в легкодоступном месте.

— А заказывал чаю, — проговорил Тойво. — Ладно, и молоко тоже хорошо. Угощайтесь, товарищи.

Долго уговаривать никого не пришлось. Мика разлил питие по кружкам, мигом разделил хлеб на равные части, и потер в предвкушении ладони:

— Итак, приступим, господа!

Молоко для желудков, прошедших испытание какими-то помоями — прекрасное слабительное. Ах, ну и ладно!

Так подумал каждый из сидельцев. И тут же каждый сделал первый глоток. Правда Игги перед этим помог финну принять полусидячее положение, что тоже было уже прогрессом.

Молоко было вкусным-превкусным. Вероятно, в новообразованный Соловецкий охранный гарнизон осуществлялись специальные поставки от местных жителей. За деньги, как положено, или за натуральный обмен. Пока коровы не

разбрелись на первые пастбища, молоко еще было. И охранники предпочитали, чтобы на этом молоке варилась обязательная уставная каша.

Понятна стала жалость утреннего вертухая, которому выпало доставлять столь калорийное питие какому-то полумертвому заключенному. И не понятно стало распоряжение начальника, который распорядился выдать молоко разбитому недугом Антикайнену. Откуда столь необычная гуманность?

Гуманность звалась помощником коменданта Успенским Дмитрием Владимировичем. Только приехал первый комендант Ногтев Александр Петрович, но он был пока не при делах. А Успенский, сам бывший заключенный, к просьбе товарища Бокия отнесся с должным вниманием и верным пониманием. Следует заметить, будущий «соловецкий Наполеон» всегда умел проявлять гуманность в самых непонятных ситуациях. В другое, основное, время он был, как и положено: садист, маньяк и душегуб.

Стояло время, когда обыватели пугали друг друга Соловками, имея в виду еще прошлые, монастырские, заслуги. До начала нового времени, лагерного, оставалось еще пара-тройка лет. И еще столько же до самого расцвета самого жестокого в мире СЛОНа.

Молодая Советская власть еще только начинала строить свою «историю возрождения» на костях невольников, павших и перемолотых бесчеловечной машиной «поддержания господство одного класса над другим».

Ногтев, назначенный устраивать СЛОН, радостно потирал руки: партия дала ему право делать все и делать в зависимости от его «чекистского чутья». Эх, если бы только не алкоголь! Бывший моряк торгового флота, старший помощник грузового теплохода «Александр Невский», ныне — чекист, бухал, как сволочь.

Александр Петрович выпил лишку еще в Кеми перед посадкой на пароходик, который привез на Соловецкий остров еще одну небольшую партию заключенных и большую партию вохры. Вместе с ним ел алкоголь будущий начальник оперчасти Буйкис, вот он в этот раз до Соловков и не доехал: завалился за стол и не был найден прислугой. Зато вместо него приехал Успенский, подвизавшийся в Кемской пересылке, будто бы вольнонаемным сотрудником строевой части.

Дмитрий Владимирович, с внешностью кроткого бухгалтера, отмотал некоторую часть своего десятилетнего срока, полученного еще при царизме, как раз в Кеми. Революция его, конечно, освободила, но не очень, чтобы сразу. Комитету по освобождению требовалось переосмыслить, что убийство отца — за что был приговорен Успенский — можно считать убийством на

фоне классовых противоречий. Папа был вполне зажиточным по дореволюционным меркам горожанином, церковным дьяком, но не желал, чтобы сын путался с разными Марксами и Энгельсами. Ну, Успенский его и убил отверткой в печень, снял домашнюю кассу, но был задержан через два дня в Вологде.

— Ах, Дима, Дима, — сказал прокурор. — Ведь он же вам родитель!

— У меня Карл Маркс родитель и еще Фридрих, понимаешь ли, Энгельс, — ответил отцеубийца и робко улыбнулся.

— Кто из них отец, а кто мать? — поинтересовался слуга дореволюционного закона. — Впрочем, неважно. А деньги-то зачем спер, подлец ты эдакий?

Ну, и влепили Дмитрию срок, по молодости лет щадящий. Через некоторое время революция пробежалась по городам и весям и, что немаловажно, по тюрьмам и каторгам. Успенского вроде бы помиловали, но осадочек-то остался. С таким осадочком в революции делать было нечего. Разве что смыть его какой-нибудь кровью.

И поехал Дмитрий Владимирович в девятнадцатом году в Туркестан, чтобы присутствовать при борьбе с басмачами. В виду внешности оказался при финчасти, где снискал себе репутацию. Потом климат стал на него давить, и он попросился обратно на севера, дабы там приносить самую большую пользу в деле революции.

Прибыв в Кемь — больше-то ему ехать было некуда — нанялся при зэковской пересылке на копеечную должность. Но дело было не в зарплате, дело было в перспективах. И однажды они перед ним раскрылись в виде пьяного в дым Ногтева.

— Я старый моряк и не знаю слов любви, — доверительно сказал Александр Петрович.

— А я вам всенепременно подскажу слова классовой ненависти, — вкрадчиво прошептал Успенский и покраснел.

— Ай, молодец! — попытался сфокусировать на него свой взгляд Ногтев. — Айда со мной. Будем вместе контриков ненавидеть. Работы — непочатый край.

— Куда, осмелюсь поинтересоваться? — еще гуще покраснел Дмитрий Владимирович.

— На Соловецкий архипелаг, твою мать! — потряс кулаком над головой Александр Петрович.

— Согласен! — сразу согласился Успенский, постепенно теряя краску в лице. — А что делать-то?

— Как — что? — удивился Ногтев. — Насиловать, пытать и убивать. Словом, перевоспитывать контру.

— Готов к труду и обороне.

Так и стал Дмитрий Владимирович помощником, а едва став, получил информацию о грядущем визите самого товарища Бокия. И чтоб финн этот оказался живым и здоровым! Будет исполнено! Молока в камеру!

Вот так началась пора улучшенного питания для заключенного Антикайнена. А заодно с ним и двух сокамерников: попа и барона. Можно было ожидать, едва Ногтев достаточно протрезвеет, как столь дичайшее нарушение режима незамедлительно отменят, но не отменяли.

Однако Соловецкий лагерь еще только становился, заключенных подвозили нерегулярно, потому как не была принята соответствующая директива. Но дело было за малым, и никаких иллюзий о том, что в этом проклятом месте устроится лагерь труда и отдыха не было ни у кого.

Игги и Мику выводили на прогулку во внутренний монастырский двор, наспех убранный колючей проволокой, к ним присоединялись другие люди, в основном подавленные и испуганные, а соглядатаев за прогулкой было почти столько же, сколько и заключенных. Почти ни у кого не было даже понятия, за что они сюда попали: суд не производился, дознание не велось — посадили в крепость, вот и весь сказ.

После первой кружки молока, усвоенной организмом, Тойво сказал своим сокамерникам:

— У нас есть десять дней, чтобы сориентироваться по месту. Или даже меньше.

— А потом рвем когти, — энергично закивал головой фон Зюдофф.

— Нет, это не Талергоф, — покачал головой Игги. — Это гораздо хуже.

Монах был единственным, кто хоть что-то мог видеть, пока он добирался сюда с материка. Но сказать хоть что-то не получалось.

Они находились на самом острове Соловецкий. Ближайший населенный пункт — хутор Горка, чуть дальше — урочище Лопушки. Со всех сторон — море, вернее — Онежская губа Белого моря. По пути к пристани лежат острова Сенные луды, пустые и легко просматриваемые. С востока два острова Муксалма — Большой и Малый. На больший из них идет дорога через каменный мост.

— И все? — разочарованно спросил Мика.

— Так я ж сюда не с паломниками прибыл, — удрученно пожал плечами Игги.

Побег — это, конечно, хорошо. Но нужна знать, как минимум, две вещи. Первая — откуда бежать? И вторая — куда бежать?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно время. Вполне возможно, что с каждым днем, проведенным в заточении, организоваться будет сложнее. Вместе с этим любая неудачная попытка побега усложняет любую последующую в десятки раз.

— Парни, ставлю вам боевую задачу, — сказал, морщась от внезапно подступившей головной боли, Антикайнен. — Ни с кем по планам не контактировать. Никаких вопросов не задавать. Внимательно слушать, впитывать любую информацию. Также всегда смотреть по сторонам, стараться запомнить любые подробности, пусть даже такие, как количество ступенек на лестнице, расположение камней во дворе и прочее.

Игги и Мика покачали в согласии головами. Как видно, каждый из них принял лидерство в подготовке на Тойво.

— Повторяю: ни с кем не контактировать, — повторил Антикайнен. — Барон, это тебя касается в первую очередь.

Сам он пока не имел понятия, с чего же начать, но ждать у моря погоды тоже было бы неправильным.

Будет день горести,
Может быть, в скорости.
Дай мне бог дождаться встречи с им.
В этот день горести
Я воздам почести
Всем врагам, противникам своим.
Пусть они, злобные —
Станут, вдруг, добрыми,
Пусть забудут про свою беду.
Пусть забудут обо всем
И идут своим путем.
А я без них уж как-нибудь дойду.

На обед принесли такую же бурду, но чья-то дрожащая рука побросала в нее пластинки мяса. А с мясом это уже было похоже на бульон. К тому же соли было в достатке. Это и понятно: Соловки были известны своими соляными разработками. Еще отсюда помимо соли на материк доставлялась рыба самых разнообразных свойств и достоинств, а также кирпичи замечательного качества. Вот и все, собственно говоря, весь экспорт. Прочее — импорт. Подневольный люд — самая его главная статья.

Как только в середине шестнадцатого века боярин Федор Колычев решил пересмотреть свою жизнь в пользу духовности, он поступил в соловецкую братию под руководством игумена Алексия Юренева. Мог бы, конечно, куда-нибудь в простой

монастырь поступить, но он решил оказаться на первой линии противостояния добра и зла, тьмы и света, что являл собой остров Соловецкий и примыкающие к нему острова поменьше.

И что с ним стало? А стал игумен Филипп, митрополит всея Руси.

Правда, до этого, задумал он, в ту пору игумен, каменный Кремль на руинах гигантских строений, от которых остались фундаменты из дикого камня, неподъемного человеку. Да что там человеку — монаху не сдвинуть с места глыбы в десятки тонн каждая. Или сотням монахов. Это потом царям рассказали, что были-де монахи на Соловках, которые силой духа двигали камни. За бога, как говорится, царя, ну, и отечество тоже.

Вранье, конечно.

Затеявший строительство Филипп вспомнил свой светский опыт и не предпринял ни одной попытки поднять храм Успения Божией Матери посредством поста и молитв. Напротив, он спроектировал и возвел в первую очередь кирпичный завод, способный производить по 20 — 30 тысяч кубометров кирпича в год. Этим кирпичом монахи заложили мегалиты фундамента — в самом деле, не разбирать же его! Получилось красиво и даже стильно.

За такой подвиг Филиппа перевели в Москву на повышение, предложили должность митрополита, от которой он отказаться не мог. Поди откажись, если предлагает сам царь Иван Васильевич посредством своего поверенного Малюты Скуратова.

— Ладно, Ваня, я согласен, — только и сказал он.

— Вот и славненько! — хлопнул в ладоши царь, охотно откликающийся на прозвище «Грозный».

И отправил на Соловки первого зэка, бывшего настоятеля Троицко-Сергиевской лавры — игумена Артемия. Того сразу запихали в яму, приспособив под это дело погреб, тоже возведенный на месте каменного фундамента неизвестного назначения. Монахи перевели Артемия на хлеб и воду и от души потешались над былым церковным начальником.

Попутно служители монастыря принялись расчищать каналы по острову, которых было изобилие, править мощенные камнем дороги, построенные неизвестными и неизвестно когда. Конечно, не преминув доложить в столицу, что все это они сами сделали. «Вот те крест!» Поверили. И до сих пор верят.

Ну, а царь Иван Грозный на радостях выдал несколько жалованных грамот о разных льготах, а также особо подчеркнул, что с Соловков выдачи не будет! Попал в островную крепость — пиши пропало: на всю жизнь. Ни амнистий, не окончания срока. Пожизненный приговор, каким бы он ни был на самом деле.

А тут англичане с дипломатической миссией приплыли.

— У вас тут, говорят, зло в шаговом, так сказать, доступе, — промолвили англичане. — А также клад, зарытый Эйриком Кровавой Секирой, а потом перерытый Харальдом Серым Плащом и умноженный Торером Собакой.

— Какая такая собака? — возмутился игумен Антоний Первый.

Тут из ямы подал голос Артемий. Скучно ему стало в темноте, да и речь иностранную услыхал — чего бы не взвыть!

— А - это! — даже обрадовался Антоний Первый. — Это не собака. Это Артемка-баловник. Повыть ему вздумалось. А кладов мы вам не дадим. Самим маловато.

Англичане переглянулись между собой: ладно, поплыли, пацаны, потом с пушками приедем — все клады на блюдечке с голубой каемочкой сами принесут.

Но этот визит без царского внимания не остался. Наказал Грозный своему воеводе Михаилу Озерову отбыть на Соловки и устроить там острог. А чтоб острог лучше устраивался приказал выделить в его распоряжение зэков из числа дворян второй руки. Ну, а кто лучшие в мире строители за исключением таджиков и солдат из стройбата? Зэки, конечно, потому что им платить не надо. Да и кормить — тоже.

Лютовал Озеров год, а потом его придушили до смерти случившиеся карелы. Он их перед этим тоже надумал в строители определить, потому как дворяне второй руки начали очень интенсивно вымирать.

Потом митрополит Филипп впал в немилость, его определили в ссылку в Тиверский Отроческий монастырь, хотя он сам просился на Соловки. Однако царь решил, что он там слишком много и многих знает, и чтоб соблазна никакого не было, пришел какой-то человек и забил опального церковного босса насмерть.

С тех пор Соловецкий архипелаг сначала негласно, а потом, спустя всего пару лет, вполне официально сделался самой страшной карательной темницей Российской империи. Как правильно заметили англичане, «зло в шаговой доступности».

Вот такое вот положение вещей, как это знал Антикайнен. Помогло знание оного в подготовке побега? Да ничуть. Вот если бы книги раздобыть из местного хранилища, собранные еще в пору игумена Иакова, к систематизации которых приложил свою руку сам Авраамий Палицын!

Это несерьезно, однако. Не найти такого повода, чтобы к этой библиотеке приблизиться.

Итак, оставалось надеяться, что два его товарища случайным

образом разузнают что-то, что может быть истолковано с пользой. Придется запастись терпением.

Терпение, конечно, было — вот времени не было. После визита Бокия все может чертовски усложниться. Что там в его голове — одному дьяволу известно. Конечно, Глебу нужны деньги, часть финской казны, однако отнять ее у плененного Антикайнена будет сложно. Даже, если его разрежут на тысячи маленьких Антикайненов. Воздействовать путем шантажа? Так самый дорогой ему человек ушел, Лотте уже не страшны никакие угрозы.

Вероятно Бокий все это прекрасно понимает. Тогда зачем же он нужен? Сделать то, что не под силу ему самому ввиду объективных обстоятельств непреодолимой силы, то есть, чистоты крови. Ладно, может и так, Глеб всегда был в поисках чертовщины. Да и Соловецкий архипелаг настолько близко стоит к злу, как бы оно себя самое не проявляло, насколько далеко от этого всего отстоит Валаам.

Зато пока питаться можно, не теряя силы, а, наоборот, их приобретая. Хоть какой-то положительный момент от грядущего визита товарища Бокия.

7. Старые знакомые

Бокий приехал на Соловки через две недели. Об этом поведал красномордый Прокопьев, не преминув добавить, что вот теперь-то лафа у вас, контриков, и закончится. Будете, мол, землю грызть зубами, бревна на хребте таскать и тому подобное. Фантазия у рыжего охранника была небогатая, вот он и не особо оригинальничал.

За это время можно было отметить две вещи, которые могли бы удостоиться некоего внимания.

Первая — ничего такого, чтобы могло хоть как-то навести на идею с побегом ни услышать, ни увидеть не удалось. Игги и Мика регулярно привлекались на подсобные работы возле монастыря, но этим все и ограничивалось.

Вторая — Тойво вновь обрел способность самостоятельно двигаться: вставать с кровати и передвигаться размеренным шагом. Конечно, помощь выздоровлению оказала наступившая теплая погода и регулярно потребляемые внутрь бульоны. А также, конечно, забота партии и правительства под управлением вождя мирового пролетариата Вовы Ленина и его подручных.

Рыжий Прокопьев, отчего-то считающий себя ответственным за их, так сказать, коммуну в отдельно взятой келье, с особой торжественностью принес разработанный все тем же Успенским порядок «коллективного общежития» и, делая свирепые рожи, прочитал:

— Отдел 3. Статья 185. В ней говорится: «За побег заключенного отвечают, как за преступление по должности все лица, на обязанности коих лежало окарауливание заключенного и наблюдение за его поведением».

— Это как — «окарауливание»? — спросил Мика.

— Вот когда будут тебя молотить два вертухая, клоун, мигом поймешь, что это такое, — побагровел шеей Прокопьев. — Окарауливание — значит, окарауливание. Все равно, что «Капитал» Маркса означает Энгельса. Понятно?

Фон Зюдофф только фыркнул.

— Далее. Отдел 3. Статья 186, - продолжил охранник. — «Начальник отделения лагерей о каждом побеге заключенного производит дознание, протокол коего направляется в Управление СЛОН, которое о сем сообщает ОГПУ». Вот так-то, граждане осужденные.

— За что осужденные? — спросил Игги.

— Ну, вам виднее, — краска с шеи рыжего переползла на лицо. — У нас, как вам известно, за просто так никого не сажают.

Это вам не царский режим!

Монах отвернулся к стене, желваки у него на щеках несколько раз дернулись, словно бы в тике.

— И последнее. Отдел 3. Статья 187. «О всяком покушении на побег составляется протокол начальником отделения лагерей и сообщается в Управление СЛОН».30 Все понятно? Вопросы есть? Вопросов нет.

Он развернулся на каблуках и вышел, крепко приложившись дверью о косяк.

— Мысли зачастую материальны, — разрядил наступившую тишину Тойво. — Прокопьев ничего не знает, он даже ничего не чувствует. Он зашел просто так, потому что до их сведения довели приказ об ответственности за побег при попустительстве. Да и, вообще, за побег. Так и должно быть в режимном учреждении.

— Так-то оно, конечно, так, — согласился Мика. — Уж только больно противный этот рыжий.

— Землячок, — усмехнулся Игги.

Фон Зюдофф ничего на это не сказал, только бросил на товарища по несчастью горестный взгляд.

Ежедневный рассказ о событиях дня не отличался множеством сюжетов: заходили туда-то, таскали то-то, охранники — уроды. Новых людей пока не прибавилось. Да и не убавилось — тоже.

— Ты прав, Тойво, что не знают эти охраннички ровным счетом ничего, — завершил свой отчет Мика. — Сегодня погнали нас в подвал — ну, один из тех, что с фундаментом из глыб — спустились мы вниз, а там воды по колено. «Черт, перепутал», — сказал конвоир и отправил в другой.

— Однако скоро навигация в полный ход откроется, будет вохра при параде командовать: никуда ходить не надо — знай себе, покрикивай, — это уже Игги сказал.

Действительно, пока на архипелаг баржи не приходили вовсе. Только какие-то небольшие катера, которыми сподручно лавировать между плавающими льдинами и протискиваться через кашу колотого льда. Вот когда вода станет чистой — повезут арестантов на Соловецкий архипелаг сотнями. Тут-то охрана и вздохнет спокойно: стадом легче управлять, нежели отдельными особями. Выбрал в толпе бригадира, нарезал ему задачи, а уж потом он сам будет рулить своими подопечными любыми доступными ему способами.

— Говорят, гидроплан прилетел, — снова сказал монах. — Пару дней назад, вроде бы.

Вот, стало быть, как — дождались московского начальства.

Только важные гости могут позволить себе самолет.

Тойво вздохнул: ну, вот, придется общаться не сегодня — завтра. Вряд ли товарищ Бокий упустил такую возможность посетить архипелаг.

Уже почти за полночь дверь в их келью отворилась и стоящий в коридоре Прокопьев произнес:

— Заключенный Антикайнен — на выход.

Тойво хотел, конечно, спросить что-то типа: «с вещами?» — но передумал. Нету у него вещей.

Они шли бесконечными коридорами, рыжий отпирал здоровенными ключами какие-то бесконечные двери, бесконечное количество вооруженных вертухаев с подвязанными кожаными ремнями пузами норовили сказать гадость в спину финну.

Наконец, последняя дверь распахнулась, и затмевая фонари типа «летучая мышь», вырвавшийся из залы свет ослепил Тойво. Прокопьев четким движением отошел в сторону и замер по стойке «смирно». Антикайнен хотел, было, поднять руку, заслоняясь от ярких ламп, но не решился.

— А кто это тут у нас? — донеслось до него чье-то не вполне трезвое восклицание.

— Отвечать, сука, когда тебя спрашивают! — прошипел Прокопьев.

Тойво хотел, было, что-то сказать, типа — представиться, но почему-то в горле пересохло и все слова застряли.

— Он, видимо, плохо по-русски понимает. Чухонец белоглазый, — сказал кто-то из зала. — Так?

— Да, — согласился Антикайнен, после чего все присутствующие в помещении засмеялись, словно от замечательной шутки. Даже красномордый Прокопьев тоненько похихикал.

Финн присмотрелся, стараясь не шевелить при этом головой. Он ожидал, что встреча с Бокием пройдет в более узком кругу — тет-а-тет, как говорится. Здесь же Глеба вообще разглядеть не удалось. Затаился, наблюдает?

— Конвой свободен, — опять сказал тот же человек, что упомянул про «чухну», и поспешно добавил. — Если, конечно, товарищ комендант ничего не имеет против.

Изрядно подвыпивший неприятного вида субъект в форменном кителе только рукой махнул. Охранник мигом растворился в коридоре, словно бы сквозняком его сдуло.

Тойво догадался, что это и есть сам Ногтев. Невысокого роста, если судить по хилым плечикам и маленьким рукам, постриженный почти налысо, отчего голова сделалась совершенно круглой, и странной верхней губой. Финну даже

сначала показалось, что это из-за усов, но, вглядевшись, отметил, что тот гладко выбрит. Вероятно, в детстве у Ногтева был дефект, именующийся «заячьей губой».

Но не это делало коменданта неприятной и даже страшной фигурой. Напускная божественность, ленивая и беспредельно самоуверенная — вот что было ужасно. Такой способен на многое. Его удел — искать недостатки. Его призвание — наказывать виновных. Его мировоззрение — приказ должен быть выполнен любой ценой.

Словно бы старший помощник капитана на речном или морском судне. Его каждодневная задача — сделать обход, найти проблемку, дать приказ об устранении, а потом писать кляузу, либо влить в уши капитану сплетню о несоответствии в выполнении. Впрочем, Ногтев и был до революции старшим помощником капитана.

— Чего пришел-то? — поинтересовался комендант, поднимая очередную рюмку с спиртосодержащим содержимым, водкой или сы-ма-го-ном. Будто Тойво пришел к ним скуки ради по собственной инициативе.

— Это мы его сюда сдернули, — ответил за финна все тот же человек.

Был он также стрижен почти налысо, большой лоб, крупные сплюснутые уши и широкий, словно бы в пол-лица, нос. Несоразмерно с коротким широкоплечим туловищем длинные руки вкупе с головой придавали человеку вид какого-то тупикового вымершего недочеловека-примата. Вероятно, и повадки у него были такие же: стремительность в движениях, реакция на грани восприятия, инстинкты на уровне подсознания.

В то же самое время этот участник застолья ни в коем разе не выказывал царственность и глупую богоподобность. Скорее, он ловко и непринужденно подстраивался под окружающее общество. Ему больше доверяли, нежели его ненавидели и боялись — видок-то у него был еще тот!

Положим, такую стрижку носили дегенераты, солдаты-окопники, да разного рода проходимцы из числа первопроходцев и урок-беглецов. Значит, чтобы вши не завелись и можно было неделями не мыться, перемещаясь из пункта «Ж» в пункт «М». Но дегенератом этот молодой, может быть 25-летний, человек не выглядел: глаза у него были другие. Вот Ногтев как раз очень походил на дегенерата.

Тойво показалось, что он где-то уже видел подобную личность. Может быть, все это как-то связано с Бокием?

— Здравствуй, Яков! — неожиданно для самого себя произнес он, уже после этих слов определив, что перед ним одиозный Яша

Блюмкин, неуловимый шпион, террорист, провокатор, а также убийца немецкого посла Мирбаха.

Кто-то считал, что Блюмкин облажался с этим послом, никого не застрелил, а выпрыгнул в окно и неловко повис вверх ногами на железной ограде, зацепившись штанами. Потом, будто бы какой-то безымянный матрос, тоже участвовавший в покушении, выпустил в посла несколько пуль, снял с ограды Блюмкина и ушел в закат, приплясывая танец «Яблочко». Но Тойво так не считал.

Яков был совсем молодым парнем. В революцию он вступил шестнадцатилетним юнцом, но отчего-то прекрасно разбирающимся в человеческих и около-человеческих отношениях. Например, он мог поддерживать беседу абсолютно с любым человеком, причем, о вполне специфических вещах, как-то: искусство, уркаганство, литература, поэзия, наука и политика. Всегда был внимательным слушателем и при этом очень искусным оратором. Это — что касается человеческих взаимоотношений.

Были еще и около-человеческие: прекрасно дрался, обладал недюжинной ловкостью и силой, метко стрелял из любого стрелкового оружия, умел собирать бомбы из печенья и варенья, искусно бросал ножи в цель. Кроме того свободно говорил на фарси, а также ряде восточных языков и их диалектах.

Как всем этим можно было овладеть в столь юном возрасте? Хотя правильнее было бы задать вопрос по-другому: где и как он всему этому научился?

Родившийся в начале века в Одессе в семье приказчика бакалейной лавки и домохозяйки, Яша закончил талмудтору — типа бесплатной начальной еврейской школы — и пошел работать туда, где обычно работают все евреи — электромонтером в трамвайном депо. Вместе с этим как-то определился в отряд еврейской самообороны против погромов. Тут он и пропал, хотя, вроде бы не пропадал никуда: крутил лампочки в вагонах и пакгаузах.

Уже в семнадцать лет Блюмкин затесался в отряд полупьяных матросов, затеявших войну с боевыми частями украинской Центральной Рады. В 1918 году снова объявился в Одессе, а, объявившись, сразу принял участие в экспроприации ценностей Государственного банка, закорешился с Мишкой «Япончиком» и начал формировать 1-й Добровольческий железный отряд. Тут его заприметил диктатор Одессы Михаил Муравьев.

Муравьев, мнивший себя, как тогда было модно, «новым Наполеоном» предпочитал террор любому иному действию. Его армия бесчинствовала в Киеве, арестовав и потом расстреляв от 5

до 8 тысяч офицеров и кадетов военных училищ. Той же самой доктрине он придерживался и в Одессе. Но каким-то образом «Япончику» через Якова Блюмкина удалось воздействовать на безумного командарма, до массовых расстрелов дело не дошло. Вскоре Муравьев взял ноги в руки и побежал прочь, потому как совершенно справедливо заметил, что его команды ловко игнорируются, а самому того и гляди можно словить пулю в голову.

Этим кратковременным моментом безвластия воспользовались и «Япончик», и Блюмкин. Первый — чтобы взять себе власть, пусть и теневую. Второй — чтобы вывести прилипшие к рукам ценности и активы разбомбленного не так давно Государственного банка. И все остались довольны.

А Муравьева потом пристрелили при очередном его «наполеоновском» демарше на Волге. Ну, да и пес-то с ним, собакой.

Пристроив все, нажитое непосильным трудом, Яков отправился в Киев, где в то время хозяйничали австро-немецкие оккупанты. Он находит своих однопартийцев, а, вероятнее всего, просто собирает шайку-лейку, посулив им горы золотые, и готовит покушение на украинского гетмана Павла Скоропадского и, для пущей важности, на фельдмаршала оккупационных войск Эйхгорна.

Фельдмаршала прищучить удалось, а вот Скоропадский, лысая башка, избежал взрыва, пули и ножа. Видать, сколько Эйгхорн верил в свою немецкую неприкасаемость, столько и гетман был весь на инстинктах, каждую минуту ожидая подвоха. Эта настороженность помогла ему прожить до старости и помереть однажды в иностранном монастыре, где он последние годы замаливал грехи своей военной карьеры. Что же, храбрые люди и ведут себя достойно своей храбрости.

Блюмкин сразу же после своих силовых террористических акций удрал в Советскую Россию и начал разрабатывать и даже готовить покушение на Колчака. Однако в последний момент получил отбой в связи с ненадобностью — того в Иркутске арестовали левые эсеры.

И в это время ему еще не исполнилось 20 лет. Кто бы мог подумать!

Яков, не привыкший подолгу сидеть на одном месте, двинулся, было, опять на Украину, но по глупому недоразумению попал в плен к петлюровцам. Те решили показательно расстрелять пацана-еврейчика, оказавшего столь ощутимый отпор при задержании ражим наглым мужикам. Побили Блюмкина изрядно, вынесли все передние зубы и в бесчувственном

состоянии оставили до утра в хлеву на сене, чтобы с восходом солнца провести казнь, предполагая, что к тому времени пацан придет в себя настолько, чтобы стоять на ногах.

Ну, а поутру они проснулись. Два охранника, командир отряда и еще какой-то начальник штаба оказались удушенными до смерти, а еврея и след простыл. Амбарный замок в хлеву так и остался нетронутым, но пленник исчез.

Яша лечился целый месяц, обзавелся новым оскалом, потом приехал в Киев, к тому времени уже вполне «красный», и сдался в ВЧК. Конечно, его тут же приговорили к расстрелу, но потом амнистировали без потери всех гражданских прав. Тогда такое дело практиковали на «раз-два». Тогда суд был скор, но состоял не из монстров женского пола, а блюдущих революционный интерес старых партийцев. Те в обмен на информацию о радикальных левых эсерах, в основном тех, что когда-то брали вместе с Блюмкиным банк, отпустили Яшу. Сами, разумеется, получили почести, партийные и материальные, от арестов и конфискаций.

Левые эсеры, конечно, жутко обиделись, на время объединились с правыми, центральными и даже верхними, приговорив Блюмкина к незамедлительной смерти путем террористического акта. Состоялось три покушения: два со стрельбой и одно с бомбой. Яша перебил всех нападавших, но все-таки получил пульку в район сердца, отправленную с расстояния в 70 метров каким-то партийным лево, право, центральным или верхним-эсерским снайпером.

Другой бы человек незамедлительно помер, да не таков был Блюмкин: он выбрался из Киева, помотался по госпиталям Южного фронта и Каспийской флотилии, а потом на два года потерялся на специальных курсах Военной академии РККА. Врачи и доктора, оказывая помощь неизвестному раненному красноармейцу, только диву давались: теоретически убитый человек практически дееспособен и бессердечен. Нету у него сердца в положенном месте! И, вообще, какое-то оно странное — то бьется, а иной раз и нет, словно бы под контролем у этого странного пациента. Едва только у врачей появлялся научный интерес, как красноармеец исчезал.

Вот на этих курсах к нему и подошел человек со змеиными глазами, товарищ Глеб, который сделал странному курсанту предложение, от чего тот не мог отказаться. Да и не хотел, вероятно.

Именно в то время Тойво лишь однажды встретил Блюмкина в коридорах ведомства Бокия, взглядом профессионала выделив его среди прочих сотрудников своей манерой передвигаться —

словно бы теряясь в одном месте пространства, чтобы сей же момент материализоваться в другом, на две трети метра дальше.

Да что там — среди курсантов Интернациональной школы командиров Яков Блюмкин был легендой, слухи о его деяниях передавались из уст в уста. Это, конечно, не значит, что будущие интернациональные командиры крепко целовались в засос, чтобы потом крикнуть: «Блюмкин, твою мать!» Так — рассказывали друг другу сказки: хотите верьте, хотите нет.

И вот он здесь, на Соловках, хотя по последней информации руководил личной охраной самого товарища Троцкого. Значит, что-то, безусловно, стоит того, чтобы привлекать Яшу. Нет — неправильно: не Яшу, а САМОГО Яшу.

— Ага, Тойво, — ответил Блюмкин, не поднимаясь с места. — И тебе здравствовать. Ну, как — отлежался слегка, отъелся на доп-пайке?

— Это кто такой у нас доп-пайком пользуется? — вскинул голову Ногтев.

— Да, по большому счету — никто! — раздался, вдруг знакомый бесстрастный голос словно бы с ленцой. — Вы, товарищ комендант, конечно, понимаете, что наш паек отличается от их пайка. Также, как и наше положение — от их. Ведь мы здесь для того, чтобы поставить этих заблудших контриков на рельсы исправления.

Ага, вот и Бокий собственной персоной. Сидит в самом темном углу и созерцает. Ну, со встречей, товарищ Глеб, зачем пожаловал?

8. Кинезис

С момента прошедшей встречи Бокий нисколько не изменился, разве что стал выглядеть как-то холено. Если грязь становится князем, то все равно кажется грязью. Глеб никогда не был князем, он довольствовался малым, а если этого ему не хватало, то он брал себе все, что нужно. Это требовало определенного напряжения. А теперь то ли у него появился стилист, то ли сам Бокий пришел наконец-то к согласию с самим собой, отчего успокоился и даже расслабился. И от этого — барственность.

— Ну, здравствуй, Тойво Иванович.

— И тебе не хворать, Глеб Иванович.

За столом моментально наступила тишина. Если до этого момента какие-то полупьяные люди во френчах позволяли себе переговариваться, то теперь же они, как по приказу, замолчали. Даже Ногтев угрюмо оперся о сцепленные перед собой руки, уставился на рюмку водки и громогласно вздохнул.

Пауза, похоже, несколько позабавила Бокия: он молчал, и едва заметная улыбка кривила его рот.

Ну, вот, подумалось Тойво, простая демонстрация, кто здесь хозяин, а кто — слуги. А также — кто, вообще, никто. То есть, он, Антикайнен.

Блюмкин медленно поднялся из-за стола — выглядел он, действительно, как цирковой артист, или цирковая, опять же, обезьяна: длиннорукий, широкоплечий, кривоногий, весь какой-то жилистый, даже угадываемые под одеждой полувоенного образца мышцы казались не буграми, а канатами. Яков прошел мимо застолья и приоткрыл дверь, словно бы и не монастырскую вовсе — легкую и украшенную витой ручкой. Непривычная роскошь в обители, где все было грубым и массивным.

Он кивнул Антикайнену, мол, иди за мной, и прошел внутрь открывшейся комнаты. Тойво вздохнул и отправился следом, угадывая на себе презрительные и даже ненавидящие взгляды. Следом, поднявшись, пошел Глеб.

— Продолжайте, товарищи, — сказал он, походя. — Мы присоединимся к вам несколько позднее, когда девки придут. Я правильно понял?

— Так точно, дорогой товарищ Бокий, — опрокинув стул, резко поднявшись с места, пролаял начальник оперчасти Буйкис. — Абсолютно правильно.

Будет день радости.

Дай мне, бог, до старости
Как-нибудь дождаться встречи с ним.
Чтоб, забыв о гордости,
Я простил подлости
Всем друзьям-товарищам своим.
Пусть они нервные —
Будут мне верные.
Пусть один нам будет дальний путь.
Дай пройти нам этот путь
И дойти когда-нибудь,
И не дай друг друга обмануть.

Помещение оказалось то ли рабочим кабинетом, почему-то размещенным возле трапезной, то ли местом, куда можно было складывать дары от просителей, скорбящих или вообще — кого вздумается. Из мебели стояли кресло и стул, а также длинный стол, расположенный вдоль стены. В красном углу со всем возможным умиротворением смотрел на входящих Святой Николай, поднявший правую руку в двуперстном крестном знамении. Ровный свет исходил от лампады, выкрашенные в белый цвет стены и потолок создавали ощущение хорошо освещенного пространства. А то, что от подвыпившей лагерной администрации через притворенную дверь не было слышно практически ни звука, также имитировало хорошую звукоизоляцию. В самом деле, даже грозный кремлевский гость не мог заставить замолкнуть или перейти на шепот пьяную соловецкую олигархию. Или — мог?

— Ну, что, Антикайнен, со свиданьицем? — спросил Глеб и без лишнего позерства устроился в кресле.

— И тебе не хворать, — каким-то сдавленным голосом ответил Тойво.

— Да ты садись! — предложил Блюмкин, указывая на стул. — В ногах, как говорится, правды нет.

Сам он легко присел на пустой стол, чуть подпрыгнув и опершись руками о столешницу.

— Да я и так сижу, — пожал плечами финн, но, поколебавшись, все-таки присел на указанное место.

Наступило молчание, и сразу сделалось слышно, что где-то за стенкой кто-то невнятно говорит, кто-то внятно смеется, а кто-то даже подвывает известную песню на неизвестный мотив.

Тойво отчего-то обратил свой взгляд на икону и между делом удивился.

Вроде бы в Соловецких храмах все старые церковные

изображения исправлялись и изымались с особой тщательностью. И не мудрено: в тридцатых годах семнадцатого века в новом Свято-Троицком скиту, что возвели на острове Анзер, принял постриг некто Никон.

В те же самые года море «вспучилось» и через сухой колодец выплеснулось в каналы, да так обильно, что затопило нижние этажи монастырских строений, доходя даже до паперти Спасо-Преображенского собора. Явление было необычным, монахи возроптали, что это знамение, а несчастные заключенные предрекали вселенский потоп.

Вероятно, тогда некто Никон и придумал свою реформацию, а потом, сделавшись по-щучьему велению, по-его хотению патриархом всея Руси воплотил ее в жизнь. Двуперстие — претит реформе, троеперстие, или, как это дело стало зваться «щепотка табака», именно то, что нужно. И начать следует именно с Соловков.

И начал.

В середине семнадцатого века патриарх Никон изъявил величайшее желание перестроить Соловки. Нет, конечно, это не касалось тех несчастных, что мариновались десятилетиями в подземельях и ямах, это касалось книг, росписей и икон.

Но не тут-то было: соловецкие иноки в единодушном порыве пошли в отказ. Новоисправленные богослужебные книги, изданные в рамках реформы патриарха Никона, которые тот прислал из Москвы, отправили обратно. Вероятно, с почтовыми голубями, потому как былой соловецкий монах очень быстро побежал жаловаться к царю Алексею Михайловичу, а тот почесал в затылке и не придумал ничего лучше, как отправить на Соловки нового настоятеля монастыря. Негра по национальности. Шутка.

Сторонники «древлеправославной» веры и тут в отказ. Негра искупали в помоях, выщипали бороденку и погнали, плачущего, прочь. А тут уже царев стряпчий Игнатий Волохов в полной, так сказать, боевой готовности с отрядом стрельцов. Все просчитал старина Никон, поэтому не стал терять время, а Игнатию дал свои церковные полномочия «мочить козлов».

Уж тот расстарался: кого пожег, кого в ямы законопатил, а кое-кто сбежал. Однако не долго радовался стряпчий. Те, кто удрал от избиения, пустили слух, что всех монастырских сторонников «мирного стояния за веру» порешили антихристы. Старообрядцы посовещались между собой и приняли решение: Соловки отбить, а Волохова утопить. Карелы — суровые люди. К тому же сюда, на севера, пришли недобитки из сподвижников Степана Разина. Они, наученные горьким опытом и вооруженные военной наукой «стратегией», предложили свой план действий:

«тесная» блокада.

А тут еще вспомнились слова преподобного Елеазара Анзерского, которые тот сказал перед своей кончиной аккурат в последний день декабря — то ли в канун Нового года, то ли просто в начало предкрещенской недели. Уже никто не разберет, праздновали тогда Новый год по старинному, еще кельтскому обычаю, а то ли нет. Историки, конечно, скажут — не праздновали. Ну, так на то они и историки, оглобля им в дышло.

Еще в начале века, семнадцатого по подсчетам анахронистов, Елеазар плюнул на церковно-приходские порядки в Соловецком монастыре и ушел в отшельники. Место, как он выяснил к тому времени, пагубное, но решил своим подвигом хоть как-то оградить от налезающей со всех сторон злобной тьмы. Сорок лет в посте, труде и молениях. Ну, людей, как водится, лечил от всяких недугов, советы давал и напутствия. А время помирать пришло, сказал: «Братцы. Стремитесь к Вере. Отвратите веру слепцов, ибо слепцы, даже зрячие, не внемлют, они чтут тех, кто им внимает. Мочи козлов!»

— Мочи козлов! — сказали, наконец, староверы и проникли в крепость. — За героя нашего Рокача!

Волоховские стрельцы сдались, а самого Игнатия утопили.

Хотели, было, старообрядцы и зэков из подземелий выпустить, да не успели: опять набежали монахи, или повылазили откуда-то.

— Все, — сказали они. — Гран мерси вам, повстанцы, за труды ваши ратные, но разбойничков наших не трогайте.

— Да какие же они разбойнички? — удивились недобитые разинцы и карелы с ними. — Это же узники, можно сказать, совести.

— Вот пусть за совесть свою и страдают. На том свете меньше каяться придется.

Пожали плечами ратные люди, сели в лодки и разъехались по своим делам.

Соловецкий архимандрит Илия, которого перед бунтом возвели в этот сан из игуменов, торжественно изрек:

— Все, пацаны! Будем служить Господу, как и раньше служили: монастырь наш устраивать, зэков мучить, и молиться, и трудиться, не покладая рук.

Он-то знал, что царь Михаил Федорович не так давно завещал: «В Соловецком монастыре воеводе не быть, настоятель обители возглавляет защиту всего западного Беломорья». То есть, можно, не дожидаясь репрессий со стороны главы, так сказать, государства, оправить ему грамоту с предложением дружбы и взаимопомощи, радея о крепости всей обороны подотчетной

территории. Пусть гражданин Никон с реформами в Соловки не лезет. А в знак признательности часть свободных от вахты монахов будут денно и нощно молиться за государя.

Но не учел архимандрит, что кончилось время царя Миши, теперь другие рулят.

Не прошло и полугода, как лихим кавалерийским наскоком воевода Иван Мещеринов со стрельцами ворвался через урочище Лопушки на остров Соловецкий. Но вместо того, чтобы занять ключевое здание и поднять над ним флаг, стрельцы вместе с командиром начали метаться по острову, вырезая местное население мужского пола и захватывая в полон женское.

Монахи, видя такое непотребство, со всех ног кинулись в крепость, заперли дверь, а ключ положили под подушку. Они огорчились, а пуще всего огорчился архимандрит. Те монахи, что выполняли обет, немедленно прекратили свое моление за государя.

Местное население на острове Соловецкий быстро закончилось, и воевода Иван с подельниками раскинулся табором возле монастырских стен. Они поглумились над пленными, попили водки, спели пару-тройку песен, подрались между собой, да и заснули снами праведников.

Так прошел, если верить летописцам, целый год. И осадившие крепость, и осаждаемые в ней волшебным образом получали пропитание, теплую одежду и медицинское обслуживание. Но пришел приказ от руководства: монастырь немедленно взять. И подпись «патриарх Никон». Тут уж дело серьезное, тут уж не до шуток.

Начали стрельцы штурмовать крепость, а пуще всех штурмовал командир Мещеринов — да все неудачно. Несколько воинов поскользнулись, а кому-то в голову прилетели камушки из-за неприступных стен. Решили ждать зимы, дождались и — снова на штурм.

Снега в тот год было много, вот и построили из него еще одну крепость, а уж с нее и попрыгали в монастырь. Монахи, конечно, удивились несказанно и сетовали друг другу: «Свалились, как снег на голову».

Ах, зима! Точнее — январь 1676 года. Еще точнее — 22 число.

Воевода на радостях повелел немедленно казнить зачинщиков бунта.

Архимандрит — в отказ. Он вообще не при делах. Он — скорее, жертва. Монахи — тоже не при чем, крестятся и божатся, что за царя и отечество. А Никона и вовсе собирались объявить почетным служителем Соловецкой обители.

— Тогда кого же казнить? — возмутился Мещеринов. — Кто каналья и бунтовщик, тысяча чертей?

— А их тогда наказывайте, — испуганно осенив себя двуперстием, ответил главный церковник. И указал пальцем куда-то вниз, словно бы под землю.

Воевода, было, обиделся, предположив, что поп чертей имеет ввиду, но расслабился и даже улыбнулся, когда увидел, что монахи волокут пред его ясные очи каких-то тощих чумазых ободранных людей.

— Вот это и есть самые доподлинные злодеи, — объяснил архимандрит. — Все, как один, бунтовщики — клейма ставить негде. Отдаем их на твой суд.

Ну, несчастных заключенных, из числа самых безобидных и неизвестных, тотчас же порешили при скоплении согнанного по такому случаю из Кеми народа.

— А еще есть? — спросил воевода вполголоса. — Как-то несолидно выглядят.

— Сделаем, — шепотом ответил архимандрит.

Состоялась еще одна казнь — уже без стечения народа.

Мещеринова отозвали в Москву, повысили в звании, а главного попа и прочих монахов Соловков, разогнали по разным местам — потеряли они доверие. Патриарх Никон из Тихвинского монастыря Макария на службу определил, чтобы, как говорится, реформы, перестройка, да еще и ускорение.

Поработали новые служители церкви изрядно, даже несмотря на ропот карел с материка. Книги изъяли, новые написали, иконы замалевали новыми сюжетами — да мало ли что! Работы хватало.

Но, видать, глаз замылился у святых реформаторов. Кое-что пропустили, кое-что недоглядели. Так, вероятно и со святым Николаем дело обстояло.

Откуда Антикайнен всю эту предысторию знал? Он не готовился специально, толстые фолианты в монастырской библиотеке не перелистывал, с монахами-историками не беседовал. Тойво просто знал — и все. Информация обрушилась на него одномоментно. Или такая уж была у него богатая фантазия, или человеку доступно то, что было, или могло быть — стоит только побывать на этом месте, прикоснуться к его камням. Ну, не всякому, конечно, но некоторым — определенно. Камни — это застывшее время, память в них копится. А иногда она имеет свойство или намерение выплеснуться. Вот так.

Ни Бокий, ни Блюмкин не заметили некоей отвлеченности Антикайнена. Да и длилась эта отвлеченность, пожалуй, мгновение.

Тойво на стуле вздохнул. Как ни считал он, что жизнь его

теперь, в общем-то, не имеет смысла, но так ее заканчивать, или просто — так жить, крайне не хотелось. Если заканчивать — то в борьбе, если жить — то по воле Господа. А здесь какая воля? Неволя, эх, неволя.

— Полагаю, в вашу камеру приносят вполне сносную еду, — то ли спросил, то ли утвердительно сказал Яков.

— Так себе, — пожал плечами Тойво. Его несколько удивила прелюдия разговора.

Сам Бокий молчал и только наблюдал, как за своим соратником, так и за заключенным.

А Блюмкин продолжил говорить вполне нейтральным тоном, находясь на почтительном расстоянии, о совсем несущественных вещах: весна и на Соловки пришла, в детстве Антикайнен, якобы, уважал такое время, хорошо бы на прогулки во двор крепости выходить и тому подобное.

Тойво отвечал односложно, или просто кивал головой.

Внезапно Яков соскочил со стола и приблизился.

— Героям-лыжникам награды дают, чествуют по всей стране, ставят в пример их героизм и мужество, а ты в тюрьме сидишь, — приблизившись, перейдя на какой-то зловещий шепот, сказал он.

Антикайнен даже вздрогнул от неожиданности.

— Не пора ли вернуться в строй?

Что за глупость — в какой строй? Его коллеги по походу заслужили свои почести. Он не заслужил, потому что дезертир. Тойво старался быть честен сам с собой.

— Надеюсь, ты не питаешь иллюзий по поводу твоего бегства с Кимасозера? Тебе позволили, потому что тебе верили.

— И кто же мне позволил? — поинтересовался финн.

— Стало быть, бегство все-таки имело место быть? — спросил Блюмкин и снова отошел к столу.

— Роковое стечение обстоятельств — не более, — ответил Антикайнен.

— Но деньги надо вернуть, — очень просто и как-то сердечно произнес Яков. — Помоги нам организовать твое будущее.

— У меня здесь с собой ничего нету, — пожал плечами Тойво. — Но я смогу организовать вам что-нибудь, если получу некую свободу действий.

Блюмкин переглянулся с Бокием, продолжавшим молчать, и сделал какой-то оговоренный ранее жест.

Черт побери, да это же практическая кинезика! Антикайнен, наконец, понял, к чему все эти разговоры, то вполне задушевные, то напрягающие. Зачем менялся тон и сокращалось расстояние между собеседниками, тоже стало понятным.

Яков изначально проверял реакцию финна на вполне

безобидные и очевидные вещи, изучал, если хотите, мелкую моторику. Затем он менял тактику, добавив напряженности. Вообще, основная задача кинезики — выяснить, когда опрашиваемый или допрашиваемый говорит правду, когда — ложь, основываясь на поведенческих навыках. Об этом способе ведения допросов Тойво слышал еще с Интернациональных курсах командиров. Правда, говорили об этом поверхностно, не преминув обозвать «псевдонаукой психологии». Однако, коль Блюмкин ее практикует, значит — не все так «псевдо!»

— Слушай, Глеб Иванович, — сказал Тойво. — Ты же знаешь, что у вас на меня ничего нет. Давить на меня, по большому счету, нечем.

Он внутренне содрогнулся, потому что единственная вещь, которой он дорожил больше всего на свете — это жизнь его Лотты. Никаких богатств за нее не жалко, но не в человеческой власти возвращать прошлое или менять настоящее. Воздействовать можно только на будущее.

— Да это мы просто так, — усмехнулся Бокий. — Проверяем, остался в тебе здравый смысл, либо уже нет.

— Ну, и как?

— А деньги вернешь? — это уже Блюмкин опять подключился.

— Конечно, я могу вам как-то помочь найти деньги. Но, во-первых, не отсюда. А, во-вторых, вы же совсем не стеснены финансовыми ограничениями, — проговорил Антикайнен.

Яков взглянул на Глеба, и оба усмехнулись.

9. Старые знакомые, новые дела

Когда-то при царе Горохе приезжал на Соловецкий архипелаг царь Петр Первый. Следует, конечно, различать Гороха и Петра. Горох — это имя нарицательное, а Петр — ну, плотник, что ли: прорубил окно в Европу.

Главным в ту пору на монастыре был архимандрит Фирс, имевший очень большую слабость заниматься управлением средствами поднадзорных ему арестантов. И у того боярина, что в Немытой башне художественно воет на волчий манер делами займется, и у сибирского сотника, что под крыльцом сидит, тихо, как мышка, делами интересуется, и у третьего, и у четвертого. Да всех дел и не упомнить. И не переделать — тоже.

Но копеечка к копеечке, на Соловки потекли финансовые ручейки, необходимые для достойного содержания зэков. Ну, и храмы, опять же новые строить, а старые — ремонтировать, каналы укреплять, угодья возделывать, рыбу ловить в промышленных масштабах.

Ну, а зэков кормить — так не на курорте же они, право слово! Живы — вот и ладно!

И тут, бац — царь на острове высадился с немногочисленной свитой. Фирс ему в ноги:

— Я, конечно, дико извиняюсь, но каким же ветром в наши края занесло столь красивого мужчину?

— Водка есть? — спросил Петр.

— Таки да, — покаялся архимандрит.

Царь обернулся к свите и погрозил ей кулаком. Потом громоподобно высморкался в ладонь и той же рукой подергал попа за бороду.

Монахи с испуга затянули песню, будто бы плясовую, а издалека из своего заточения завыл опальный боярин.

— Весело у вас тут, как я посмотрю, — сказал царь, потом одним глотком выпил поднесенный стакан местной, настоянной на березовых почках, огненной воды, уткнулся носом, словно бы занюхивая, в архимандритскую холеную поросль, что свисала с подбородка, и там засопел.

— Шо? — боясь пошевелиться, прошелестел главный Соловецкий поп.

— А шоб знал! — ответил ему Петр.

Фирс сразу же подумал о задуманной им секуляризации, будь она неладна. Подмена духовных дел сугубо мирскими, что и являлось собой, собственно говоря, секуляризацией, не нашла поддержку карельского населения. «Ох, барыги» — качали они

головами вслед монахам. Ну, а те, знай себе секуляризировались, то есть, обогащались.

«И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли».

Эти строки из Евангелия тотчас же вспомнились архимандриту, но он немедленно себе возразил: ни волами, ни овцами, ни, тем более, всякой пакостью, типа голубей, они не торговали. Не говоря уже про размен денег. Иисус, конечно, был буйный, да еще и сильный — не каждый сможет справиться с сытыми самодовольными купцами. Но на монахов он бы руки с бичом не поднял, да и торговля у церкви другая. Только приношения и пожертвования согласно прейскуранту. Что не возбраняется, то и не запрещается. Жить-то и в монастыре на что-то надо!

Петр Первый остался доволен монастырскими видами, а также особенно в его душу запало то, как монахи управлялись с заключенными.

— С Соловков нету хода? — любил повторять он, словно бы вопрошая космос.

— Нету, батюшка, — вместо космоса ответствовал Фирс.

— Вот это хорошо, вот это правильно!

Не прошло и семи лет после этого визита, как царь сослал на вечное поселение на Соловецкий архипелаг духовника своей семьи иерея Иоанна, чтоб не «блажил что ни попадя». Ну, а до этого времени он под впечатлением от визита оказывал великие милости, как Фирсу, так и его организации. И не то, чтобы пытался наложить руку на пухнущую монастырскую казну, наоборот: заставил своих бояр время от времени жертвовать туда деньги. «Под себя же копеечку подкладываете — авось еще на Соловках доведется страдать?» — смеялся он. Подчиненные опасливо крестились: Господи, пронеси!

Через год, в 1702 году царь второй раз посетил Соловецкий архипелаг. На сей раз предводительствуя теми судами, которые успел построить, так сказать, в целях развития мореплавания и, вообще, морских сообщений.

Фирс, конечно, слегка побаивался — как Петра-то не бояться! Но виду не казал. Водку припас заранее, столы с деликатесами разобрал под навесами от скучного беломорского дождичка. Но не это было нужно всероссийскому самодержцу. Что-то он был сам не свой.

Опальный иерей на Соловках принял постриг под именем Иов. Ну, а в схиме отзывался на позывной «Иисус». В первую же неделю своей ссылки он, пользуясь правом свободного передвижения по островам, отчалил на остров Анзер, на котором когда-то закончил свои дни преподобный Елеазар. Иов, он же — Иисус, справедливо рассудил, что такие люди, как помянутый Елеазар могут уйти просто так. Вот только абы куда они уйти не могут.

Ну, а чтобы удалиться от людей, но не сделаться отшельником, он поднялся на гору Гологофу на острове и начал обустраивать себе скит. Раз в неделю ему привозили монастырский рацион — и на том спасибо. Также монахи, кто послабее духом — то есть, подобрее сердцем, плотницкий инструмент поставляли, точильный камень устроили для топора, и одежку какую ни-то. Так и поднял Иисус скит, и нарек его Распятским.

Потребовал Петр своего бывшего духовника к себе, а, дождавшись, всех из отведенных ему покоев выгнал вон. Отчего-то, хоть и обучался, якобы, морскому делу в Голландии, но лишнего времени на борту он не любил. Если есть суша, то на ней и следует находиться.

— Ну, видишь, старик, флот-то я построил, — сказал царь Иисусу.

— И тебе не болеть, — ответил монах.

Петр свирепо блеснул глазами, отчего его собеседник подумал: «Вот, значит, что такое — свирепо блестеть глазами». Но развивать тему не стал — может быть, сознавая, что ни угрозами, ни оскорблением ничего не решить.

— Как ты мне сказал тогда? — спросил он и, не дожидаясь ответа, продекламировал:

> — Рыцарей нет.
> На оружие ржавчины след,
> Души воинов этот покинули свет.

— И ты думаешь, что тебе удастся что-то изменить? — еле слышным голосом проговорил Иисус. По мере продолжения речь его становилась тверже и решительнее.

— Ты не сам построил флот, ты не сам поднял город, ты не сам творишь культуру. За тебя все сделали сотни тысяч людей, поплатившись, порой, своими жизнями. Тебя тешит, что твое имя будет жить веками, однако на деле твоим именем будут лишь прикрываться те, кто придет послед тебя, чтобы достичь своих вполне приземленных целей. Ты мнишь себя первым после бога,

но по сути тебя таковым делают те, кому ты выгоден. Однако Господу не может быть угодно все то, что ты творишь. Господь говорит тебе это посредством твоей совести, но ты уже давно не слышишь ее. Остановись, глупец! Чужими жизнями не заплатить за свое мнимое величие.

Петр не изменился в лице, даже взгляд его не потух разочарованием или, как уже случилось, не отразил свирепость. Вероятно, к такому разговору он был готов, хотя в глубине души все же надеялся на иную беседу.

— Вижу, ты остался прежним, — сказал он.

— Я выгоду не ищу, — пожал плечами Иисус.

Это была последняя встреча Петра Первого и его бывшего духовника.

Через год, в 1703 году, он основал город, который вполне скромно назвал Санкт-Петербург. Дело-то хорошее, только поднял он его на болотине, угробив несколько десятков тысячей пленных шведов, не пленных карелов-ливвиков (тогда все еще называвшихся ливонцами), ингерманландцев и разных прочих финнов. Город на костях наших предков, город Петра.

Царь умер в 1725 году, провалившись, если верить современникам, в темноту, якобы сказав перед этим, что-то, типа «передать все». Мучения его были страшны, он все шарил перед собой руками, будто пытаясь ощупать пространство. Другие вспоминали, что перед смертью царь просил осветить вокруг все свечами. Да куда там!

А Иисус скончался за пять лет до своего Петра. Ушел он мирно, не потревожив никого, все также в обустроенном им Распятском ските на горе Голгофа. Но в отличие от царя, умершего в 52 года, отошел он в весьма почетном возрасте. Его там же и похоронили, подивившись, что тело не претерпело никаких изменений за то время, пока его не обнаружили.

С тех пор скит Иисуса начал ветшать, потому что среди монахов больше не нашлось никого, кто бы решился на одинокое подвижничество. К моменту задействования большевиками архипелага под сугубо каторжные цели Распятский погост, как его стали именовать после похорон хозяина, развалился совсем. Зато созданная во второй четверти 19 века «пещера монаха», якобы скит Иисуса, сделалась местом паломников и проведения служб. Архимандрит Досифей решил: почему бы не пойти навстречу верующим, которые до сих пор поминали легендарного чудотворца. Ничего личного — только бизнес.

Бокий кивнул Блюмкину, и тот, вновь вспрыгнув на стол, заговорил, загадочно улыбаясь.

— Деньги, определенная работа — это перспектива, — сказал

он. — Нам же нужна действительность. А она такова: ты нам поможешь, а мы потом решим, насколько эта помощь тянет. Вдруг, разойдемся краями, а?

Тойво в ответ непроизвольно хмыкнул, но постарался как-то скрасить этот казус словами:

— Ну, выбора-то у меня нет, на самом деле. Только мне бы информацию какую-нибудь. Что делать-то?

— Выбор всегда есть, — строго сказал Глеб. — Или мы тебя забудем, сиди здесь до скончания века, строй планы о побеге, или ты делаешь то, что тебе скажут. В этом случае твое будущее не определено, оно, как говорится, в твоих руках.

Антикайнен пожал плечами:

— Клясться в верности не буду — бессмысленно это — но выбираю первый вариант. Только у меня есть условие.

— Какое? — сразу спросил Бокий.

— Ну, я его потом скажу, как только сделается понятным, что от меня требуется.

Блюмкин сдержанно улыбнулся: вероятно его позабавило, что некое условие ставится прежде, чем оговаривается задача. Вообще, Яков выглядел, скорее, как начальник отдела кадров, рассматривающий претендентов на некую должность. В то же самое время Глеб играл роль работодателя.

— Что скажешь, товарищ Блюмкин? — спросил Бокий.

— Можно попробовать, — пожал тот плечами. — Да и под критерии Барченко вполне подходит. Придется проверять опытным путем. Пристрелить его всегда успеем.

Тойво сохранял невозмутимость во время разговора двух чекистов — все равно от него уже ничего не зависело. Пристрелиться он всегда успеет. Гадать, что же ему хотят предложить, тоже не хотелось. Вряд ли что-нибудь хорошее.

Кончен день вечером,
Мне терять нечего.
Сяду я и отдохну от дел.
И скажу каждому —
Был день однажды мой.
И я достиг того, чего хотел.

— Что знаешь об острове Анзер? — спросил Бокий.

— Ничего не знаю, — ответил Тойво, однако все же кое-что он, оказывается, знал. Может быть, это знание от него было сокрыто еще несколько секунд назад — но тут, бац, озарение.

— Это интересное место, — заметил Блюмкин и начал болтать ногами, как школьник на перемене. — И интересно оно

тем, что почти не тронуто всякими реформами и прочей бесовщиной.

Во время царя Михаила Федоровича в 1633 году Троицкий скит, что стоял на острове Анзер, получил жалованную грамоту о независимости от Соловецкого монастыря. И никакой игумен или архимандрит темникам этого скита был не указ. Всего в нескольких километрах как раз и жил своей замечательной жизнью святой Иисус.

Все это Тойво откуда-то знал, но промолчал. Но, похоже, что и Блюмкин догадывался об этих его знаниях. Он так внимательно и испытующе смотрел на Антикайнена, что в других условиях последний обязательно зарядил бы ему с ноги в голову. Однако не те сейчас были условия, не те, черт побери.

— Сам понимаешь, мы заинтересовались развалинами Распятского скита не по причине поиска зарытых кладов, святого Грааля, Золотой Бабы и прочего, — сказал Бокий. — А если ты это понимаешь, то поймешь и другое. Вот на это понимание у тебя время до завтрашнего утра. Доложишь нам, а уж затем мы примем решение. Свободен!

— Как это? — удивился Тойво, а Блюмкин коротко рассмеялся.

— Оговорился, — не поддержал смех товарищ Глеб. — Или пошутил.

Тотчас же Яков вскинулся и, приоткрыв дверь, крикнул в залу:

— Конвой сюда!

Словно из-под земли вырос Прокопьев, пожирая глазами высокое начальство.

Антикайнен, заложив руки за спину, молча развернулся и прошел через пиршественную залу. Девки пока еще не подтянулись, но парни уже оттянулись.

Два потных и одинаково лысых дядьки в расхристанных гимнастерках без знаков различия, сопя и попукивая, боролись на руках. Кто-то с роскошным чубом лениво целился из своего маузера в люстру под потолком. Начальник Ногтев, так выпучив глаза, что, казалось, они сейчас упадут и укатятся в мышиные норы, тряс перед круглым и добродушным лицом Успенского раскрытой на какой-то странице книгой.

— Это «Капитал», это Энгельс так писал, — говорил он, брызгая слюной. — Это наше руководство в борьбе. Это наше пособие. Вот спроси меня, что написано — и я тебе отвечу.

Успенский вежливо улыбался, но не переспрашивал.

Тойво заметил, что книга Ногтева — это «Соловецкий патерик», вполне возможно, что и первого, 1873 года,

издательства. К тому же, держал он ее кверху вниз.

Успенский со своей внешностью былинного васнецовского богатыря готов был согласиться со всем, даже с тем, что «Патерик» и есть «Капитал», а Маркс и есть Энгельс, лишь бы со временем оказаться вместо своего нынешнего шефа и тоже трясти перед подчиненным каким-нибудь трактатом.

Латыш Буйкис, подлая душа, начальник оперчасти, спал лицом в тарелке — его никто не тревожил, а он пускал розовые сопли, то ли от съеденной селедки под шубой, то ли от усердия. Ему было хорошо, словно в своей тарелке.

Прочих участников банкета по случаю приезда дорогих гостей Тойво не разглядел — ведомый явно тяготившимся этого общества Прокопьевым, они споро прошли на выход.

Едва за ними захлопнулась дверь, рыжий охранник вздохнул с облегчением и объяснил:

— Они теперь всякое могут увидеть: и черти примерещатся, и контрреволюционеры — а нам отвечать. Пульнут — и с них взятки гладки. Так что, как говорил товарищ Бокий: «Все в меру и все на расстоянии».

Антикайнен сомневался, что Глеб мог такое сказать, но желание Прокопьева сделаться на всякий случай «своим парнем» было вполне объяснимо. Кто знает, что завтра будет с сегодняшним зэком, если к нему ездят московские гости? И что будет с сегодняшним начальством, если оно не приглянется этим самым гостям?

Общаться с рыжим не хотелось, да и не было на это никаких сил. Все-таки не так уж много времени прошло с той поры, как он встал на ноги. Да и следовало очень хорошо подумать. Бокий задал задачу, с которой предстоит справиться. И не потому, что так хочет всесильный товарищ Глеб, а потому что разгадка поможет чувствовать себя вновь человеком на фоне всего его нынешнего отчаянного положения.

А Прокопьев, пока они шли коридорами и переходами, был само общение. Он относился к пресмыкающимся. Впрочем, как и любые полицаи, чекисты, милиционеры и особенно — прокуроры и судьи. Таковы правила игры, что без пресмыкания им не то, что не подняться в сомнительной карьерной лестнице, но и не выжить.

Эх, если бы литературу какую раздобыть! Но это исключено, разве что испросить через начальника Успенского «Историю ставропигиального Соловецкого монастыря» 1899 года издания, чтобы, так сказать, расследовать дело о возможных «кладах» на островах? Нет, не дадут. Будут опасаться организации побега.

— Ну, заходи, да помни о справедливости и ответственности,

бремя которой несет на своих плечах дорогой товарищ Бокий! — торжественно сказал Прокопьев.

Тойво и не заметил, как они подошли к его тюремно-монастырской келье.

— Надо же, — удивился он. — А я думал у него на плечах голова, которой он ест и пьет. И иногда думает.

— Ну, давай, без разглагольствований!

Рыжий отпер дверь и кивнул двум заключенным, что были внутри.

Когда лязгнули запоры и стихли шаги удалявшегося на свою вечернюю мессу конвойного, Игги спросил:

— Чего это с ним?

Тойво с облегчением присел на свою койку и только после этого сказал:

— Парни! У нас всего ничего для подготовки. Уходить нужно в день самой короткой ночи.

— 22 июня! — заметил Мика. — Еще так долго ждать! Я бы хоть сейчас свалил!

Но Игги махнул на него рукой.

— Ладно. Давай думать, что у нас есть, и что нам надо. Полагаю, попытка только одна. И от многих факторов зависит, какова она будет: успешная или нет.

Антикайнен согласно кивнул головой. Бежать можно лишь один раз.

10. Анзер

Стоило посмотреть на барона фон Зюдоффа, как сразу делалось понятно, отчего ему так хотелось бежать. На лице у него красовался замечательный синяк, каким награждают не вдруг и не любой встречный-поперечный.

— Вертухаи? — спросил Антикайнен.

— Ну, да, — горестно вздохнул Мика. — Не потому, что «оказал неповиновение», а потому что просто «оказался».

— Его спросили о статье, по которой осужден, — объяснил Игги. — А он честно признался, что сидит без статьи.

— Так и у меня ни срока, ни суда тоже не было, — сказал Тойво.

— И у меня, — согласился монах.

— Значит, побьют, — еще горше вздохнул барон.

То, что посадили их всех без суда и следствия — это полбеды. Когда пошла практика сажать по суду, а человек ничего не нарушал — вот это беда. Государство так устроено, что под приговором ходит любой гражданин, за исключением, конечно, самих судей и иже с ними. Менты подбрасывают всякую дрянь, абсолютно веря в правоту своих действий. Прокуратура выискивает какой-то мифический экстремизм, нисколько не сомневаясь, что она неправа. Налоговая служба легко приписывает долги совсем левого человека, считая, что не важно с кого добыть деньги в казну — важно просто их добыть. А судьи, сука, все судят и судят!

Тойво не стал возражать монаху — все может быть. Да и все, в принципе, будет.

Не пройдет и года, как в СЛОНе начнутся расстрелы. Когда с парохода будет сходить новый этап, начальник лагеря товарищ Ногтев и начальник оперчасти Буйкис по одному, им только известному, капризу начнут стрелять в пробегающих мимо людей из карабинов. Норма у каждого стрелка — 10 человек. Завалил «десяточку» — и можно водку идти пить.

А после водки Ногтев опять выходил к «стаду», выискивая среди новоприбывших, как ни странно, не девушек милой внешности, а священнослужителей, которым угораздило попасть на Соловки.

— Эй, опиум для народа! Подай бороду вперед, глаза в небеса. Скоро бога увидишь! — кричал он и бил кулаком в лицо выявленной жертве. А потом, вцепившись в бороду, так сильно дергал ее туда-сюда, что голова несчастного попа едва не слетала с плеч.

Недалеко от своего наставника ушел и Успенский. Страдая манией величия в особо извращенной форме, он лично резал и стрелял заключенных, которые ему по какой-то причине не понравились. «Соловецкий Наполеон» не делал разницы между мужчинами и женщинами.

Один умный человек назвал такое состояние человека, как нравственное помешательство — психическая болезнь, при которой моральные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательстве человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретического, формального между ними различения. Неизлечимо.

Этим недугом страдали все начальники Соловецкого лагеря особого назначения. Будто бы заразная была эта болезнь.

Сменивший Ногтева Зарин ввел в обиход помимо расстрелов повсеместное голодание. Среди зэков, конечно. Позднее уникальный опыт умерщвления людей голодом взяли на вооружение другие, как советские, так и фашистские концлагеря.

Латыш Дегтярев лично расстреливал заключенных. Считалось, что он не доверял никому, но на самом деле он получал от этого колоссальное плотское удовольствие, перед казнью даже снимая штаны и нижнее белье. Тоже по должности — начальник, получивший прозвище «Главный хирург».

Однако не следует думать, что так дело обстояло только лишь на проклятой соловецкой земле. Личный палач Иосифа Виссарионовича генерал Блохин не мог уснуть днем, если не застрелил из номерного наградного револьвера сорок человек ночью. Отобрали у него оружие, отправили в отставку — он тут же скопытился. Смысл жизни потерял, гаденыш.

Да мало ли было этих, взращенных системой награжденных всеми мысленными наградами упырей! Неважно, что кого-то из них политическая мясорубка тридцатых годов перемолола, наградив пулей в лоб. Неважно, что кто-то из них дожил до глубокой старости и получал еще в восьмидесятых годах охрененные персональные пенсии.

Важно то, что нравственное помешательство никуда не делось — системе без него никуда. А теперь нравственное помешательство и есть система. Так-то, брат.

Каждый, право, имеет право на то, что слева и то, что справа.

На черное поле, на белое поле, на вольную волю и на неволю.

В этом мире случайностей нет,

Каждый шаг оставляет след.
И чуда нет и крайне редки совпаденья.
И не изменится времени ход.
Но часто паденьем становится взлет.
И видел я, как становится взлетом паденье.

Мысли Тойво крутились вокруг острова Анзер, но никак не проникали в суть: что такого в развалинах Распятского скита, что можно было бы считать очень важным? Старые фрески, зарытые иконы, резные деревянные или каменные кресты? Искусство?

Неожиданно он вспомнил русского художника Николая Рериха, о котором ему в прошлой жизни рассказывал друг Куусинен. Почему именно он в голову пришел? По кочану и по капусте.

— Игги, ты об острове Анзер что-нибудь знаешь? — спросил Тойво.

— Я знаю! — тут же отреагировал Мика. — Байка среди зэков, что туда вертухаям нет хода. Давит их Усопший монах, даже мяукнуть не успевают. И попов, что не по понятиям — тоже давит.

— Так они ж там новый скит открыли рядом с какой-то пещерой, — сказал Игги. — Попы с Соловка.

— Ну, вот, потому и открыли, чтобы Усопший к ним не приставал — типа возле той обители нету у него силы.

Вот, оказывается, какая байка. Тойво заинтересовался. Неспроста Анзер раньше считался независим от Соловецкого монастыря.

Площадью всего 47 квадратных километров, отделенный проливом Анзерская Салма, он покрыт болотами и озерами, по берегам поросшими соснами. Рядом с одной ламбушкой, Голгофской, и возвышается на 64 метра гора Голгофа. Здесь упокоился святой Иисус. Не тот ли Усопший монах?

— А если бы нас туда отправили по распоряжению властей, пошли бы со мной? — спросил Антикайнен у своих сокамерников.

— Подконвойными, или как? — поинтересовался Игги.

— Не знаю пока, — пожал плечами Тойво.

— Почему же не сходить? — ответил монах. — Может быть, там остались люди?

— Уверен, мы с ними справимся, — заметил Мика.

— Хорошие люди тоже остались, — возразил Игги.

— Хорошие люди теперь не выживают, — угрюмо сказал барон.

Бокий ничего не упоминал о новом храме, только про

развалины скита что-то заметил. То есть, ему интересно то, что было до вползания церкви на остров. А любой интерес со стороны Глеба имеет сугубо материальный характер.

Вполне возможно, почившим монахом оставлено какое-то сокрытое знание — уж неведомо в какой форме. Чудодейственные мощи? Так, скорее всего, если тело оставалось действительно нетленным — его святые отцы непременно изъяли для исследовательской цели. Им тоже нужно знать, отчего чьи-то останки не подвержены тлену. Может, конечно, уже знают, да вот только делиться этими сведениями они не спешат.

Нет, покойник не может быть целью, уж простит за таковое заявление сам святой Иисус. Что же он делал помимо целительства? Царь к нему дважды наведывался. Уж не затем, чтобы доказать своему бывшему духовнику, какой он крутой плотник — окно в Европы прорубил! Петр Первый никогда не страдал излишеством совести, сострадания или участия. Ему было глубоко наплевать на всех, за исключением себя, любимого.

Трое прежних святых старца, более всего иеромонахи, несли чуть ли не вахту возле Соловецкого колодца, противоборствуя злу силой своего духа и веры. А ведь тоже, поди, могли на Анзер податься. Что-то было на том острове, помимо уединения, столь почитаемого истинными верующими.

Какое слово сказал товарищ Глеб Антикайнену, маскируя под неуместный сарказм? «Свободен». Бокий никогда не шутит, и слова у него никогда не вырываются без определенного смысла. Свободен в условиях Соловецкого лагеря — это совершив побег. Иначе отсюда не уйти. Это — сейчас, а в прошлые века, может быть, было несколько иначе. Но Глеб говорил именно про «сейчас».

Догадывается ли он о намерении Тойво сотоварищи бежать? Да отсюда любой зэк мечтает свалить любым способом. Тогда это слово может означать нечто типа подсказки.

— Что нам еще известно про Анзер? — спросил своих товарищей Антикайнен.

— Ну, только то, что скоро чекисты приберут островок к рукам, — ответил Игги.

— Обязательно приберут, но немного позже, — согласился Тойво. — Мы об этом пока думать не будем.

Через семь лет администрация СЛОНа распорядится открыть на острове Анзер свое 6 отделение. После некоторых событий бестелесный призрак монаха, доводивший до умопомешательства и даже смерти наиболее слабых вертухаев и алчных попов, сгинет, будто его и не было. Однако загадочная гибель упомянутых бесчестных людей все равно будет иметь место,

только про нее уже никто не станет распространяться. Тайна и секретные материалы.

В 1844 году на Соловки прибыл великий князь Константин Николаевич, флотоводец времен Александра Второго, монаршая особа. Прибыл-то вполне открыто, газеты это дело освещали, а вот убыл как-то странно. Газеты это событие уже как-то не описывали. Вроде бы делегация уехала, да вот только сам князь немедленно объявился в Таганроге, несколько смущенный и слегка обеспокоенный. Чрезвычайно быстро ему довелось преодолеть пол страны. Понятное дело, с расспросами к нему никто не сунулся, разве что братья, великие князья. Но те по монаршему обычаю привыкли помалкивать на сторону, а между собой клясть проклятый алкоголизм.

В свое время очень интересовался Константин Николаевич своим предком Александром Первым, который неожиданно умер в 1825 году. Слухи, конечно, ходили, что царь просто скрылся от мира в этом самом Таганроге, поговорив по душам с одним старцем Алексием перед поездкой. Тот ему, якобы, сказал: «Саня, подумай о душе. Ты же папу своего убил. Хоть и косвенно, но не препятствовал этому, а даже потакал».

— Ну, а название само по себе что-то должно ведь значить? — включился в беседу Мика. — Места дикие, никто переименованием не заботился.

А ведь прав барон! Тойво не успел сам что-нибудь придумать, как Игги уже сказал:

— На ливвиковском диалекте есть такое слово, что означает заработную плату. Деньгами, или чем-то полезным. К острову это никак не соотнести.

Ну, а если попробовать посмотреть немного глубже. На праязыке, например. Санскрит хранит много информации. Черт побери, старый друг Куусинен в этом деле был сведущим человеком. Сам Антикайнен помнил не так, чтобы много — какие-то расхожие слова и общеизвестные термины.

— А я вот знаю, что Сортавала означает «Сорта валла» или даже «Черта валла», то есть земля черта. Там много камней-следовиков, — сказал Мика. — И «дивьи люди» там встречаются чаще, чем где бы то ни было. И святое место Валаам поблизости. А, как известно, всякая чертовщина гуще всего клубится возле истинных святынь.

— Гениально! — воскликнул Тойво. — Вот она отгадка!

Он возбужденно поднялся с места и сел обратно. Это было столь непохоже на всегда сдержанного, словно бы замороженного, финна, что Игги и Мика переглянулись.

— Молодец, барон, — добавил Антикайнен, также внезапно

успокаиваясь.

Причины и последствия стали дополнять друг друга, указывая на мотив.

На санскрите наименование острова можно было перевести, как «преследование». Именно где-то возле своего скита монах Иисус и обнаружил то, посредством чего можно было мгновенно переместиться за кем-то или чем-то. В нынешней ситуации — за человеком, который потерялся, было в Сортавале, но потом нашелся в Швеции, а потом опять как-то скрылся от всех надзорных и подзорных органов государств.

За этим и приезжал в свое время царь Петр, но Иисус ему не раскрылся. Кого искал вседержитель Руси — пес его знает. А Константин каким-то образом, может, даже, сам не ожидая, сделал то, что запросто делали до него наши далекие предки. Прошел не в определенное место, а туда, где был человек, его интересующий. Вот тебе и Таганрог, где, типа, помер или скрылся Александр Первый.

Недаром же пращуры для подобного рода фокусов-покусов даже специальный инвентарь хранили: железные сапоги и железные хлеба.

А средством переноса служил камень, на котором рунами было начертано «не влезай, убьет». Руны разбирать теперь почти никто не в состоянии, вот и стоит камень-портал в автономном режиме, не претерпевая никаких изменений. Камень — это застывшее время.

Для того, чтобы человек преодолел некое расстояние, упомянутый арсенал был, вроде бы, необходим. На самом деле это вовсе не железо, а мягкий металл, напоминавший свинец. Хранился он в воде, но не был подвержен влиянию ржи, разве что цветом делался очень темным, местами темно-зеленым. «Сапоги» представляли собой раскатанные в полпальца толщиной листы этого металла, по форме напоминающие портянки. Таким же образом их и надо было наворачивать на ноги. Одну пару поверх другой — сколько потребуется.

А «хлеб», действительно, напоминал испеченный в печке каравай, только держать его надо было руками и зубами у себя на груди, словно защищая сердце. Да так, в принципе, и было: «каменный перенос» живого тела с одного места в другое прекращал все процессы в организме, кроме сердца. Известно, что оно само по себе не запустится, будучи остановленным. Массаж требуется и рот-в-рот — поцелуй смерти. На небольшие расстояния вред здоровью камни-порталы приносили незначительный, вот большие дистанции вызывали некоторые осложнения. Поэтому — чем дальше, тем больше «сапог»

износить и «хлебов» изгрызть.

Конечно, всегда возникал вопрос: сколько «сапог» одевать, сколько «хлебов» грызть? Чтобы оказаться за тридевять земель, за тридевять морей требовалось семь. А дальше легко: отсчитал, насколько ближе надо попадать — и составил пропорцию. Внес поправочный коэффициент массы тела, учел постоянную Планка, умножил на единицу минус относительная влажность воздуха — и можно смело биться головой о каменную стену. Авось, куда-нибудь вынесет. Или шишка набьется — будь здоров!

Байки о проходах сквозь камни Тойво знал еще с юношеских времен, когда работал в газете. Сказки, да и только! Кто же знал, что от таких вот сказочек зависит возможность удрать с Соловков!

— Ну, не томи, — не выдержал глубокой задумчивости Антикайнена Мика. — Есть у нас перспектива?

— Да, Тойво, хотелось бы немного прояснить ситуацию.

Это уже Игги замолвил свое слово.

— Короче так, пацаны, — сказал финн. — 22 июня мы будем рвать когти. Жаль, едой не сможем как следует запастись.

— Я собрал мешок сухарей, — заметил монах. — Пока вы в небо через решетку смотрели.

— И я собрал мешок сухарей, — тут же добавил Мика. — Пока вы глубокомысленно молчали. Давай мериться, у кого мешок больше?

Антикайнен деликатно кашлянул в кулак: он не то, чтобы сухарей, даже крошек про запас не приготовил.

В результате замеров мешков, которые оказались мешочками, упрятанными в укромные прятки, победила дружба — у барона было больше, но у Игги пакетик на ощупь плотнее и от этого тяжелее.

Договорились, что ныне запасаться будет каждый. Мыши в келье не водились, крысы вполне довольствовались нижними и подземными ярусами, так что предательства от животного мира ждать не следовало. Разве что Прокопьев или другие вертухаи устроят вселенский шмон — тогда найдут. Но, вроде бы, до этого пока дело не доходило. Так что, как говорили древние слэйвины, «бог не выдаст — свинья не съест».

Делиться планами с товарищами Тойво пока не стал — все зависело от ближайшей встречи с товарищем Глебом и его товарищем Яковом. Коли там случится облом, придется реализовывать план «Б».

— Я вам чуть позднее скажу, что надумал, — объяснил он сокамерникам. — Вы тоже прикидывайте на свой взгляд. Может, он окажется более свежим и реальным. В конце концов, нам важно уйти отсюда.

— По льду было бы проще, — заметил Мика.

— Так к зиме тут охранников в десять раз больше сделается. Да и надо будет как-то до того времени дожить, — возразил Игги.

— Нет, я это просто так сказал, — принялся оправдываться барон. — Чем быстрее — тем лучше.

Действительно, из всех побегов с Соловков самыми успешными были те, что происходили летом. Зимой уходили те, кто не представлял себе, что такое карельская зима. Беглецов находили по следам, оставленным на снегу. Или, если погода делалась не для поисков, потом нанимали местных беломорских жителей, чтобы те обнаружили замерзший труп и за вознаграждение доставили его в лагерь для опознания.

Зимой по льду особо не побегаешь — ориентиров никаких. Только звезды и светила. Спутался — пошел по кругу. А тут еще полыньи, укрытые полосами торосов.

Зимой бежать — нужна специальная подготовка, специальное снаряжение, специальная одежда и карта маршрута. Да где ж все это раздобыть несчастным лагерникам Соловецкого лагеря особого назначения?

Капитан драгунского полка личной охраны его императорского величества Юрий Безсонов, Георгиевский кавалер Созерко Мальсагов, коммерсант Эдвард Мальбродский, сын настоятеля церковного прихода Матвей Сазонов, кубанский казак Василий Приблудин — все они ушли группой, преодолев на плоту, способном развалиться по бревнышку, до материка. Со второй половине двадцатых годов на поиски беглецов начали задействовать гидропланы, но и они не обнаружили группу из пяти человек, пересекающих Белое море. Однако постоянно собирая свой рассыпающийся плот, беглецы не питали иллюзий, что погони на берегу больше не будет. Через топкие болота и чащу леса, сбивая табаком и перцем со следа энкавэдэшных собак, они двигались в сторону Финляндии. Когда же в дело поимки подключились пограничники, то лишь ночной сплав по реке позволил отважным людям выбраться за пределы Советской России. По ним стреляли из пулемета русские, потом начали стрелять финны. Те палили в белый свет, как в копеечку, но подкравшийся ингуш Созерко, одного вида которого можно было бояться, дал команду «прекратить стрельбу» мощными ударами кривой дубины. Защитники рубежей страны Суоми тотчас же притихли и потом долго объясняли своим начальствующим командирам, что «Хийси на них напал, потому что только у него могут быть такие глаза в пол лица, горящие и исступленные».

Крестьянин Щепко Иван Фомич, Архимандрит Феодосий, переводчик, полиглот и писатель Олег Васильевич Волков, Иван

Лукьянович Солоневич и его брат Борис Солоневич, неистовый якут Егор Егорович Старостин, комсомольский рабкор Павел Борейша и три безымянных морских офицера — все они преуспели в своих побегах. Лишь только Павлику Борейше не повезло — богатырского телосложения беглец оказался зажат между камнями, когда вплавь добирался до берега, и сил не хватило выбраться, и шторм начался. Разбило беглеца плавником почти до полной неузнаваемости.

Светлая память отважным!

Ну, а морские офицеры не были безымянными, да, к тому же, может, не были они и морскими офицерами. Все это досужие вымыслы, пуля, запущенная коллегами рыжего охранника Прокопьева. Может, лишь один из них — офицер, один — барон, а еще один — монах.

11. Неуместный торг

Май расцвел черемухой и рассыпался мириадами комаров, мошек и иных кровососущих вредителей. Начало лета на Соловках ознаменовалось крупной партией классово неприемлемых для Советского государства субъектов. Помимо белогвардейцев это были банковские служащие и уркаганы. Так сказать, пробная партия дармовой рабочей силы.

Все сорок новоприбывших, конечно, составляли определенную силу, вот только никак не рабочую. Урки были плохими работниками по своим понятиям, белое офицерье оказались плохими работниками из классовых соображений, а бухгалтера были просто плохими работниками.

Ни воры, ни беляки не боялись ни побоев, ни смерти, а банкиры хоть и брались за все и сразу, но ничего стоящего из этого не выходило. То ли умиление от нового расцвета природы, то ли отсутствие навыков борьбы с летающим гнусом повлияло на то, что суровость надзора над зэками несколько утратило свою суровость.

Если строгая отчетность в рабочем инструменте — молотках, пилах, топорах — соблюдалась неукоснительно, то обрезки досок, неучтенные гвозди, метры пеньковой веревки могли лежать в куче под майским дождиком и прорастать лопухами.

— Доски, веревку и гвозди собирать под дверь той кладовки, где много воды, — сказал Тойво барону.

Мика не стал переспрашивать «зачем?» и между делом, проходя мимо, подпихивал в щель под дверь оговоренные материалы. Он верил в красного финна, верил в то, что под его руководством им удастся отсюда выбраться. Только не вполне было понятно, зачем им нужно что-то поблизости от монастыря, коли все дело должно замутиться на острове Анзер. Ну, да раз надо — значит, надо.

После памятной беседы с Бокием прошло, вместо обещанного, целых три дня, когда Антикайнена опять вызвал всесильный чекистский босс. Для этой цели освободили внутренний дворик между колокольней и Никольской церковью, приспособленный под прогулки особо ненадежных заключенных.

— Тебе есть, что нам сказать? — спросил Блюмкин, стоящий рядом со своим начальником в расслабленной позе. Вряд ли в былой Российской империи нашелся бы человек, способный мгновенно отреагировать на малейшее изменение ситуации, как мог Яков.

— Если вас, конечно, это все еще интересует, — ответил

Тойво и почувствовал некую тень кокетства в своих словах.

— Я скажу, только как насчет моего условия? — поспешно добавил он.

— Ну, так назови его, — недовольно заметил Глеб. — У нас мало времени.

— Мне нужны два помощника, — сказал Антикайнен. — При такого рода делах, связанных с Сампо, мне нужны люди, которым бы я доверял.

— А при чем здесь Сампо? — удивился Блюмкин, не пытаясь скрыть своего разочарования.

Тойво посмотрел в змеиные глаза Бокия и не увидел в них ни тени понимания.

— Ну, а если я скажу так: Самполла? — продолжил Тойво. — Не это ли Рерих ищет?

На этот раз реакция последовала, как от Глеба, так и от его телохранителя. Бокий прищурился, а Блюмкин рассмеялся.

— Да тебе в цирке фокусником надо работать, — сказал он. — Как ты дошел до этого, мать честная!

Как и любой неординарный и наделенный талантами человек, Яков умел восхищаться вещам, на которые он сам не способен. Пока не способен.

Можно было предположить, что товарищ Глеб чуть растерялся, но такие люди ведут себя иначе: они сердятся. А Бокий вознегодовал серьезно. Был бы пистолет под рукой, выстрелил бы непременно. В Блюмкина, в Антикайнена, в пролетающую ворону или прячущегося за сараем Буйкиса — без разницы.

— Кто? — спросил он тоном, который, как говорится, не предвещал ничего хорошего. — Откуда про Шамбалу знаешь? Назови предателя!

— Ты меня просил подумать, ну так и получите, — пожал плечами Тойво, ничуть не страшась стоящего перед ним человека, наделенного чудовищной властью. — Мне нужны мои помощники.

Бокий не привык принимать скоропалительных решений, первая мысль об утечке информации все-таки пока доминировала в его голове, и с ней нужно было разобраться. Он отвернулся от Антикайнена, намереваясь уйти по-английски, не прощаясь.

— Учти, товарищ Глеб, что лучше ночи, чем на 22 июня, не будет. И я не буду сотрудничать без выполнения моего условия, — в спину ему сказал Тойво.

— С тобой свяжутся в нужное время, — на минуту остановившись, через плечо ответил Бокий.

За ним поспешил Блюмкин, на ходу подмигнув финну и

показав поднятый вверх большой палец правой ладони.

Ну, и что дала эта беседа?

Антикайнен убедился, что ход его мыслей был правильным. Художник Рерих, проведший чертову кучу времени в «чертовой валле», то есть, в Сортавале, занимаясь своими собственными изысканиями, решился на поиски. Его всегда интересовала Шамбала, связь между Тибетом и севером прослеживается, если как следует присмотреться. Вернее, следует сказать по-другому: с Севера всегда виден Тибет. С Тибета север не виден, потому что нынешнее его население просто не смотрит в ту сторону.

Может, ушел уже Рерих по пути продвинутых? Может, и Бокию следует отправиться за ним? Ну, не самому, а кому-нибудь из его приближенных. Тойво он, понятное дело, не доверяет. Тот нужен только для того, чтобы помочь в открытии способа следования за Рерихом. Древние знания легче даются людям, у которых чище, стало быть — древнее, кровь.

Вот теперь и остается ждать два развития ситуации.

Первый — товарищ Глеб решит, что Антикайнен слишком много знает и прищучит его при первой возможности.

Второй — будет использовать Тойво, пока можно, а потом все равно ликвидирует.

В общем, жизни для красного финна осталось немного при любом раскладе.

И вот какая интересная картина вырисовывается: вроде бы и жить-то не для чего — любимая погибла, идеалы разрушены, будущее ужасно и отвратительно — но умирать отчего-то не тянет вовсе. Даже больше: хочется жить, чтобы вырваться из проклятых Соловков. Жить не потому что, а вопреки чему-то.

Где ты, Пан, чтобы спросить? Или Архиппа Перттунен, может, ты объяснишь?

Молчат они, не в силах их на Соловецком архипелаге даже в сон проникать, нет у них такой власти. Самозванец здесь обосновался, богом себя кличет. И прочие его также величают.

Чем меньше времени оставалось до условленной даты, тем менее уверенней стал чувствовать себя Тойво. Не верил он Бокию, но дело не в этом. Не мог постичь он все коварство, всю вероломность натуры товарища Глеба. Логика его поступков не поддавалась никакому объяснению.

Отшумела непогода первой недели июня, как раз под окончание цвета черемухи. Пуще прежнего взвились кровососы, не стало от них спасения ни в кельях, ни в залах. Начальство лагеря в кои то веки здраво рассудило: траву вокруг построек надо выкашивать, ибо там как раз гнус растет и строит свои гнусные планы.

Бросили клич: косы к осмотру. Этого добра оказалось с избытком. Да и косари тоже нашлись. Коси коса, как говорится, пока роса. Тойво сотоварищи начали привлекать на утреннюю борьбу с травой. Ну, а сено, само собой — тоже незаменимый продукт. Его можно было заготавливать, его можно было продавать по спекулятивной цене, на него можно было меняться. И цена на сено тоже была разной. С колючками и лопухами, мать-и-мачехой и одуванчиками — бросовая. С тимофеевкой, горохом и злаками — первосортная.

За такой травой охотились редкие местные жители. У всех была скотина, все хотели, чтобы скотина ела от пуза и, стало быть, выдавала из себя максимальную пользу.

— Попы-то себе лучшие угодья для покоса прибрали, — сказал один местный житель. — Нам-то вовсе болотины остались.

«Соловейцы», или, вовсе «соловьи», как любые крестьяне, предпочитали зариться на все чужое, в то же самое время никому не позволяя брать у себя что-либо. Они подтягивались к тем местам за монастырскими стенами, где махали косами заключенные, и вступали в переговоры с охранниками.

— Так рано еще сено-то заготавливать! — заметил Мика, случившийся поблизости.

— Ничего, ничего, на осень — самое время, — ответил другой «соловей».

— Чего дашь? — охраннику было, по большому счету, плевать — скотину они не содержали, но просто так делиться с первыми встречными не хотелось.

— Так сами побираемся, ничего нету, — хором сказали крестьяне.

— С плохой овцы — хоть шерсти клок, — возразил красноармеец и принужденно зевнул. Ему в голову никак не приходило, что бы такое с местных отжать.

— Ты рыбу у них спрашивай, — пришел на помощь Тойво, заложив свою косу за спину. — Сейчас как раз щуки должны ловиться.

Местные жители переглянулись. Судя по всему такой обмен их вполне устраивал.

Охранник не торопился с ответом. Выдерживая паузу, ему хотелось показать всем, кто здесь начальник.

— Ну? — вопросил один «соловей».

— Сколько дашь? — наконец, поинтересовался красноармеец.

Оба крестьянина тут же отошли в сторону и стали держать военный совет.

— Эй, а где рыбачите? — крикнул им Антикайнен. — На ламбушках, либо на Белужьем мысу?

Этот мыс находился с западной части Соловецкого острова, выдаваясь в Онежскую губу Белого моря.

— Так там артелью надо рыбачить, лодки большие, опять же — сети другие, — словно оправдываясь, громко ответил крестьянин.

— И рыба другая, — ухмыльнулся охранник.

— Так опасно там, море штормит иной раз. Чего нам с нашей надобностью туда соваться?

Они помолчали, а потом к красноармейцу приблизился один «соловей» и, тыча пальцем в ровные рядки скошенной травы, предложил:

— Корзинка рыбы за эту полянку.

— Так это же два воза сена! — прикинул охранник.

На самом деле тележки, с которыми пришли сюда местные жители, не были столь уж велики и соответствовали по грузоподъемности одной человеческой силе.

— А рыба с ламбушки? — опять спросил Тойво.

— Так с Долгой губы — это ж тоже Белое море.

Долгая губа была бухта, глубоко врезающаяся в восточную часть острова. Здесь море всегда было спокойное, однако иной раз хорошая треска или камбала заплывала на эти малые глубины.

— И много вас там рыбачит? — как бы между делом поинтересовался Антикайнен.

— Так, почитай, все, кто здесь живет, — пожал плечами «соловей».

— Бери рыбу, командир, — подал голос Мика. — Завялишь, которая помельче. Уху сваришь, с прочей. Выгодная сделка!

— Ладно, не вашего ума дело, — насупился охранник. — Хорош баклуши бить, пора косить. А мы еще поторгуемся.

— Торг здесь не уместен, — вздохнул крестьянин и для пущей важности развел в стороны руки.

За пять дней до оговоренного с Бокием срока Тойво собрал большой совет.

— Парни, — сказал он. — Время близится к часу «че». Подведем наши итоги относительно подготовки.

Большой совет согласно закивал головами.

— Сухарей хватит на неделю, — отчитался Игги.

— Я тоже об этом хотел сказать, — сокрушился Мика.

— Ну, а больше добавить нечего, — далее сказали они, то есть, большой совет, хором.

— Тогда слушай сюда, пацаны, — усмехнулся Антикайнен. — Рвем когти, как договаривались. Ксивы нам не нужны. Без котлов как-нибудь обойдемся.

Монах посмотрел на барона, тот посмотрел на монаха.

— Переведи.

Тойво перевел, объяснив, что надеяться на товарища Глеба не стоит. Все, что нужно сделать — это ранним-ранним утром отбиться от коллектива косарей и затаиться возле той сторожки, куда Мика ранее запихал доски и гвозди. Внутри лагеря досмотр не слишком пристальный, поэтому не хватятся сразу, что кто-то отсутствует. Лишний час, отвоеванный у ночи — лишние километры перед погоней.

— А будет покос в этот день? — спросил Игги.

— За полторы недели, что пройдет к тому времени, трава вырастет по пояс. Заколосится и выдаст из себя армию мошек, — объяснил Тойво. — Для нас теперь 22 число не принципиально. Как поведут поутру, так и сорвемся.

— А что там в этой сторожке? — поинтересовался Мика. — Я лично ничего полезного в ней не заметил.

— Там вода, — сказал Антикайнен. — Она сама по себе не возникает. Она течет, причем, что характерно, под наклон.

Когда барон нечаянным образом замочил ноги, дождей не было. Стало быть, это не грунтовая вода. Тем более, что в другой кладовке было сухо.

— И это не колодец, а также не случайный пробившийся ключ — в противном случае он бы промыл землю возле фундамента. Это подземный поток. Он может быть пресным, что нехорошо, или соленым, что уже лучше.

— Почему? — спросил Игги.

— Если вода солоноватая, значит, это море течет. То есть, можно и нам это самое моря достичь. Если пресная — то она все равно впадает куда-то. В конечном итоге — в то же самое море. Однако это некоторая потеря времени для нас.

Доски, гвозди и веревка нужны для того, чтобы сделать временное плавучее средство. Когда доведется выбраться на берег морской — ведь не может же подземный поток впадать в середину моря — придется плыть до первой обнаруженной лодки. С восточной части лодок много — об этом поведал «соловей», менявший себе сено, с западной — не очень. Зато там ближе до материка. Впрочем, плыть нужно будет на юго-запад. Без часов нехорошо ориентироваться в море, рассчитывая по солнцу направление движения. Но делать нечего.

Ни денег, ни документов ни у кого нет. Деньги можно раздобыть, вот с документами могли бы быть сложности.

— Но в нашем случае все просто. Никого из нас не судил суд, ни на кого не составлены протоколы, в официальных органах о нашем существовании могут подтвердить, что потерялись, но не

были задержаны. Вот такая, братцы, перспектива. Гарантий никаких нет, шанс один, но выбор есть у каждого.

Мика только хмыкнул в ответ, а Игги лишь поднял, словно в удивлении, руки: какой выбор? Все уже решено давным давно.

> Ты шел, забыв усталость и боль, забыв и это, и то.
> Ты видел вдали волшебный огонь, который не видел никто.
> И часто тебе плевали вслед, кричали, что пропадешь.
> Но что тебе досужий совет, ты просто верил и шел на свет -
> И я знаю, что ты дойдешь.

— Тогда, братцы, у меня к вам есть одна большая просьба, — сказал Тойво, поморщившись, будто собираясь сообщить что-то неприятное. — Не питайте большие надежды на наш побег. Каждый из нас должен смириться с мыслью: «Все в руках Господа». Получится — хорошо. Не получится — ладно, дело житейское.

Пресекая вопросы, он поднял правую руку ладонью кверху.

— Дело в том, что наш мир устроен не так, как нам бы того хотелось, — объяснил Антикайнен. — И если чего-то очень хочется, то обязательно найдется то, неведомое нам, что этому будет противиться. Таков закон маятника: чем больше мы его толкаем — тем большая сила будет стремиться вернуть его в первоначальное положение. Что за сила такая — то ли Бог-Самозванец, то ли морока из Нави — но лучше об этом не думать вовсе. Пусть будет то, что будет.

— Ладно, — очень серьезно сказал Игги.

— Хорошо, — также серьезно поддержал его Мика. — Нам терять нечего.

На самом деле этот план, который Тойво поведал своим товарищам, был план, что называется «Б». За основу он все-таки держал ту возможность, которую мог бы предоставить Бокий. Но от того все еще не было ни слуху, ни духу.

А 20 июня вечером Прокопьев объявил камере Антикайнена, что завтра с рассветом опять на покос.

— Какой же рассвет в белые ночи? — не удержался Мика, видимо чуть взволновавшись предстоящими событиями.

— Для тупых сделаю уточнение: в 4 часа утра, — ощерился рыжий охранник. — Ты у меня, клоун, руками траву будешь рвать.

— Ладно, ладно, — поспешил проговорить барон. — Как скажешь, начальник.

Наутро, обвязавшись под рубахами спеленутыми сухарями, красный финн, монах и барон получили инвентарь и медленно побрели вдоль монастырского двора. Сзади их конвоировал Прокопьев, что было удивительно — обычно он не утруждал себя подобными мероприятиями.

— Чего это ты в такую рань, начальник? — спросил Мика. — Или спать не охота?

— Так я вас сдам, а сам обратно на боковую, — криво улыбнулся рыжий. — Есть утренние мероприятия, которые желательно избегать. У меня будет на то законное право.

Но не успели они дойти до ряда кладовок, как из монастыря прибежал посыльный.

— Заключенный Антикайнен и кто-то с ним на месте, остальным идти дальше, — заявил он. — Приказ товарища Бокия.

Прокопьев вздохнул, передал косы своих подконвойных другим заключенным и махнул рукой: пошли.

— Ну, ждите здесь товарища Глеба. Уверен, он для вас приготовил что-то специальное.

Посыльный убежал в монастырь, косари ушли по маршруту, Тойво кивнул головой товарищам.

— Ну, вот, будем действовать по первоначальному плану. План с подземным потоком отменяется.

Их никто не охранял, да и, в принципе, бежать было некуда. От монастыря к ним шел упругой походкой сильного и уверенного в себе человека сам Блюмкин. Одет он был вполне по-граждански, вот только карман брюк оттопыривался. Там было либо очень много денег, либо слиток золота, либо пистолет системы «наган». Скорее всего, последнее.

— Так, Антикайнен, один человек с тобой — и на выход с вещами, — сказал Яков вместо приветствия.

— Моим условием были два человека, — удивился Тойво.

— Ну, торг здесь не уместен, — ответил Блюмкин и полез рукой в карман.

Финн посмотрел на своих товарищей. Какое-то решение следовало принимать прямо сейчас. Но в голову ничего не приходило, к такому повороту событий он был просто не готов.

— Прощайте, друзья, — вдруг сказал Мика и, словно боясь, что его сейчас схватят за руки, отступил на несколько шагов. — Вы идите, да поможет вам Господь. Видать, разные у нас пути.

— Быстрее! — сказал Блюмкин и руку с кармана убрал.

— Береги себя, барон, — проговорил Тойво. — Промочишь ноги — суши портянки в первую очередь. Верю в тебя.

— Прощай, Мика, — добавил Игги, даже не пытаясь разыгрывать сцену «пусть он идет, я останусь». — Не поминай

лихом.

И они, не оборачиваясь, зашагали вслед за Яковом.

Ну, и барон фон Зюдофф пошел в другую сторону.

12. Макеев Михаил Федорович

Мика нисколько не сожалел, что не пошел со старшими товарищами. Не лежала у него душа заниматься общими делами с высоким московским начальством. Мерзавцы в Кремле сидят и мерзавцами рулят. Как себя с ними вести — неизвестно. Лучше всего, конечно, никак.

Да, к тому же, чертовщина, напускаемая по делу и без такового на остров Анзер, предполагает пролитие крови. Без этого в мире — ну, никак не бывает. Без этого мира, черт бы его побрал, не бывает. Самой первой кандидатурой на жертвенный алтарь должен был стать именно он.

А теперь станет старина Игги? Может быть и так, но у того шансов как-то извернуться и выпутаться все же больше. Удалось же ему выскользнуть из смертельных тисков Талергофа! Монах и верой сильнее, и искушениям не податлив. Какой хороший человек Игги!

Мика за несколько минут преодолел расстояние до намеченной кладовки. Спрятанный в камнях кладки фундамента гвоздодер, ржавый и увесистый, помог справиться с навесным замком. Его он поднял как-то с земли, копая какую-то яму хозяйственного или вполне бесхозяйственного назначения. Хорошо, что замок был из новоделов — легкий и хлипкий. Старые монастырские запоры новые власти сняли, потому что для них требовались большущие ключи, которые нанизывали на специальное кольцо не более пяти штук. Иначе таскать было бы совсем неудобно. А теперь у коменданта ко всем дверям ключей на один карман хватало.

Пристроив дужку замка на засов таким образом, чтобы она соскользнула обратно в отверстие для запирания при закрытии, Мика убедился, что доски лежат, а также на фундаменте стоит свечной огарок. Ну, теперь можно действовать. Однако в этот момент он услышал, как кто-то идет прямиком к его нынешнему убежищу.

Любой охранник мог не беспокоиться о троице заключенных, приказом Бокия оставленных на неизвестные цели. И любой охранник прошел бы спешным ходом досыпать до обеда, да вот только не Прокопьев. Очень не нравилось ему, когда такие дела случались безо всякого согласования. Ведь как с начальством: взбредет ему в голову что-то — а потом, вдруг, разбредет. И кто виноват будет? Только тот, кто в это ввязался, причем из всех участвующих — самого низшего звена. Поэтому рыжий охранник решил выяснить, куда делись оставленные им заключенные. На

всякий случай.

Он и увидел, что роса на траве сбита не только по пути следования косарей. Узкие полоски следов тянулись к какому-то складскому помещению. Здесь прошел один человек. Что ему нужно внутри, и кто этот человек? Может, и не человек вовсе, а зэк, замышляющий недоброе? Прокопьев достал из кобуры свой маузер и, словно бы, взвесил его в руке.

Вообще, пистолет этот был у него подарочным и даже именным. Награда пришла вместе со званием «старшего караула», когда он, тогда еще просто вохровец, обезвредил обезумевшего от горя и выпитой водки казацкого есаула на железнодорожном переезде Березники.

Все бы ничего, да был тот есаул казаком Первой мировой войны, где и потерял ногу. А потом, в лихую годину безвременья 1918 года потерял всю семью, канувшую в неизвестность после учиненных белочехами расстрелов. Хотя в то время чехи уже прислуживали красным. Но не вынесло сердце старого ветерана визита молодых парней из пригорода, поступивших на службу в ЧК.

Уж зачем они, взволнованные очередным успешным рейдом раскулачивания, зашли к нему и на потеху пристрелили домашнего пса, единственного друга и товарища есаула — никто не знает. Помертвели глаза у калеки, но молодые чекисты решили сыграть в благородство: оставили без малого литр водки, как компенсацию, и ушли по направлению к железнодорожной станции.

Есаул без закуски выпил всю водку, похоронил свою собаку, достал из укромного места карабин итальянского производства и пошел вслед за чекистами. Двоих он пристрелил сразу же, но слезы застили глаза, а тут и пулька в спину прилетела, пущенная из эшелона с соседних путей.

Развернуло ветерана на месте, но удержался он на ногах, только карабин стволом к земле опустил. А тут еще выстрел раздался, прицельный и выверенный. Почему такой? Да потому что угодил аккурат в деревянную культю, разбив ее вдребезги.

Упал есаул лицом вверх, не пытаясь больше ни подняться, ни прицелиться. Только плакал, как могут плакать взрослые мужчины, которым дорогу слезам открыла проклятая водка.

А тут и сам стрелок подошел, рыжий вохровец, отшвырнул ногой карабин, достал штык-нож и несколько раз ткнул им в беспомощное тело. Герой, конечно. Очень гордился потом своим выстрелом в деревянную ногу — так только на стрельбищах да в тире попадают. Заслужил повышение по службе и наградное оружие.

Доставая свой маузер, Прокопьев всегда непроизвольно оценивал его, как дорогую награду. Приблизившись к дверце, он заметил еще одну странность: замок висит, как и положено, однако дужка находится вполне в открытом состоянии и носит следы взлома. Если кто-то проник внутрь, кто ж его тогда запер? И следов больше не видно.

Именно из-за таких странностей и не стал поступать охранник по Уставу караульной службы, то есть, поднимать тревогу, а сам решил посмотреть, что бы это все значило. Он открыл дверцу и заглянул внутрь.

Внутри было пусто и как-то стыло. Предутренняя хмарь Белой ночи не требовала, чтобы глаза привыкли к полумраку внутри кладовки. Но никого видно не было, только ступени, выложенные таким же камнем, что и фундамент, спускались куда-то вниз. Прокопьев шагнул внутрь, прислушиваясь и поводя дулом пистолета.

Ему показалось, что он слышит какое-то сдавленное то ли кряхтенье, то ли урчание. Определить точно характер звука было трудно, но определенно он был. Рыжий охранник еще раз повел стволом своего маузера справа налево, а потому рухнул, как подкошенный.

Так случается, если сверху внезапно падает что-то тяжелое. На этот раз упал барон фон Зюдофф собственной персоной, изо всех сил до этого пытающийся удержаться где-то под крышей. Он и невольно кряхтел, напрягаясь изо всей своей мощи.

Пистолет укатился по ступеням во мрак — хорошо, хоть самопроизвольно не выстрелил — за ним отправился и короткий ржавый ломик, типа гвоздодер.

Прокопьев поднялся на ноги, потирая ушибленную шею, Мика встал тоже.

— А, землячок! — обрадовался охранник. — Ну, вот, наконец, и свиделись на узкой дорожке.

— Не понимайт, — ответил барон. Он здорово испугался, к тому же рыжий был на шесть лет старше двадцатилетнего парня — а это целая пропасть в опыте и решительности. — Их бин больной.

— Сейчас я тебя буду на кусочки рвать, понимать тут ничего не надо, — проговорил Прокопьев, зловеще улыбаясь. — А потом, живого, сдам в оперчасть. Там и оставшиеся кусочки на кусочки поделят!

— Да, страшно, — признался Мика. — Может, все-таки не надо? Я ж ничего не сделал.

— Да ты просто клоун! — взревел рыжий и наотмашь ударил парня по лицу.

Барон, конечно, упал на доски. Да и граф бы упал, да хоть сам император! В голове у него заиграли трубы, из глаз полетели искры — впечатляющее зрелище, но любопытствовать было некогда. Во рту ощущался привкус крови, что, как ни странно, подействовало на него отрезвляюще.

Мика сунул руку под доску, нащупал гвоздь длиной девяносто миллиметров — других размеров и не было — крепко взялся за него возле шляпки и резким ударом воткнул в голень нависшего над ним охранника.

О, это было больно! И тому, и другому. Правда, Прокопьеву было больнее — он даже задохнулся от страдания, исторгнув из себя лишь слабый писк. Четырехгранный кованый гвоздь глубоко вонзился на ладонь ниже колена, собрав возле своего острия все мыслимые болевые точки.

Охранник, открыв рот и выпучив глаза, согнулся в три погибели, намереваясь ухватиться за уязвленную конечность. На Мику дыхнуло запахом перегара и гнилых зубов, что тоже способствовало дальнейшему его действию.

Он нашарил еще один гвоздь и с силой ткнул им в височную долю своего противника. Немедленно тонкая струйка крови потекла у Прокопьева из носа, капая на грудь барона. Сам охранник опустился на колени и захрипел. Вероятно такой поворот событий его устраивал не очень.

А Мика, перевернувшись через голову, вскочил на ноги и, схватив первое, что подвернулось под руку, стал бить им, как молотком, по торчащей шляпке, вбивая ее все глубже в висок охранника. Понадобилось всего пара метких ударов, правда, несколько раз при этом промахнувшись, опуская рукоять маузера — вот что он ухватил — на скулу и макушку.

Вскоре Прокопьев перестал хрипеть.

Мика, не расставаясь с пистолетом, поскакал к входной дверце и запер ее тем же образом, что и раньше. Только после этого он позволил себе перевести дух и прислушаться: ни криков, ни звуков торопливых приближающихся шагов слышно не было.

— Пригвоздил, что называется, намертво, — сказал он и толкнул ногой охранника. Тот не пошевелился.

Мике нельзя было медлить, промедление было смерти подобно. Но что делать-то теперь?

Сначала он подумал подвесить тело Прокопьева за шею, словно бы тот в порыве душевной муки покончил жизнь самоубийством. Но тут же представил, что висельник будет смотреться крайне нелепо, если до этого воткнул себе в голову гвоздь. Обычно самоубийцы так не поступают.

Потом подумал просто бросить охранника, как есть, но опять

же отмел и эту мысль. Прокопьева, без сомнения, будут искать, и в этой кладовке очень быстро найдут. И всеми силами примутся за розыски убийцы. Если же тело не обнаружат, то будут искать со всей тщательностью, отчего меньше народу будет задействовано в поисках сбежавшего зэка — в то, что его исчезновение не выявят, он не верил.

Поэтому Мика спустил доски по ступенькам до самой воды, мимоходом проверив ее на вкус — пресная, черт побери! Потом обшарил карманы трупа, обнаружив, к счастью, огниво, запалил от него свечной огарок. Всю форменную одежду с покойника он снял, оставив того в исподнем. Вообще-то ему нужна была только обувка — высокие солдатские ботинки английской кожи — но заодно и гимнастерка со штанами и фуражкой. Все это он спустил вниз к доскам, а потом приволок сюда и тело. К счастью ни луж крови на полу, ни ошметков мозга на стенах не было, а то он всерьез уже намеревался это дело замывать, чтобы не оставить вообще никаких следов.

Бросив фуражку в воду, Мика определил, что течение имеется. Стало быть, куда-то вся жидкость втекает. Ну, и он, собрав с помощью веревки и гвоздей доски в вязанку, поплывет по течению. Подволок был арочный, так что если воды не прибавится, то можно двигаться, уповая на предположение Антикайнена.

Он положил тело Прокопьева по носу своего неказистого плота, а сам побрел сзади, толкая его перед собой. Постепенно глубина под ногами увеличилась, тем самым позволив и самому Мике забраться на доски. Да и вода оказалась чертовски холодной, чтобы по ней бродить!

Подземная река по размерам напоминала, скорее, ручей. Два плота в ней бы не разминулись. Но навстречу никто не попадался, что не было так уж удивительно. Временами откуда-то сбоку по стенкам хода обильно сочилась вода. Вряд ли зимой все это дело превращается в лед. Скорее всего в любое время года здесь держится одна и та же температура. А раз так, то под водой должны жить какие-то подводные обитатели. Твари длиной в два метра с кривыми кинжаловидными зубами. Пиявки величиной с руку, способные зараз выпить всю кровь с теленка. Мокрицы с добрую сковородку, заживо переваривающие все, на что заберутся. Утопленники со всего Белого моря, чьи истлевшие тела жаждут примерить на себя чужую трепещущую плоть.

Мика почувствовал свою полную беззащитность в этой подземной канаве, да еще холод, доселе неощутимый, принялся пробираться сквозь ветхую одежонку и, казалось, хватать ледяной лапой за самое сердце. Он осторожно, чтобы не потерять

равновесие, одел на себя гимнастерку Прокопьева и, едва не растеряв в воду остатки гвоздей, накинул поверх плеч штаны покойного. Теперь должно сделаться теплее. А если не сделается, то все равно сделается — по определению и умолчанию. Холод отступит — и баста!

Чувство времени исчезло напрочь. Сколько он уже так плывет: минуты или часы? Поди, свечи может и не хватить, надо ее поберечь. В темноте страшно, ну, да и не в темноте — тоже страшно. Однако страх не помогает выбираться, страх расшатывает нервную систему, что мешает человеку быть человеком. Нервы должны изнашиваться постепенно, по мере старения организма. А иначе можно сойти с ума. Сделаться сумасшедшим в столь юном возрасте — перспектива безрадостная, ведь теоретически впереди вся жизнь. А практически?

Надо гасить свет.

Мика двумя пальцами ущипнул фитиль, тот обиделся и перестал гореть. Сразу же наступила кромешная тьма, которая вкупе с почти полной, если не считать легкого шуршания воды о доски, тишиной навевала оптимистичную мысль о заживо погребенных. Немедленно сделалось трудно дышать. Немедленно подкралась слабость в коленках. Немедленно нужно снова зажечь свечу.

Он открыл глаза, в поисках огнива и понял, что полная темнота — это всего лишь обман зрения. Чтобы что-то видеть — надо глаза открыть, а не плыть, зажмурившись, что он делал после того, как погасил огонек.

На удивление кладка подземного канала слабо светилась. Вероятно, это мох и плесень, наросшие на камни. Света было мало, но его хватало, чтобы видеть контуры руки, поднесенной к лицу. А также обратить внимание на то, что мертвец шевельнулся, а затем и вовсе сел, явно намереваясь вытянутыми скрюченными пальцами уцепиться за Микину шею и наказать его за свое убийство.

«Барон», — прошипел Прокопьев.

— Мама, — ответил фон Зюдофф и в панике принялся высекать огнивом потоки искр.

Как тут же прояснилось, труп лежал в прежнем положении и даже ухом не повел. Все это игры воображения, блин.

— Фууу, — облегченно выдохнул Мика, и тотчас же его волосы ощутили чье-то прикосновение. Волосы зашевелились, и захотелось бежать прочь, подвывая от ужаса. Сердце заколотилось, в мозгу возникли картины, одна краше другой. Сейчас то, что его только легко трогает выпустит острое

смертоносное жало, и его песенка будет спета. Или сомкнет чудовищные кривые зубы на его макушке — тогда тем более не спеть!

Он непроизвольно втянул голову в плечи и поднял вверх руки. Та из них, что не держала огниво, моментально нащупала чьи-то ниспадающие волосы и вцепилась в них.

Сразу же почувствовал, что эти волосы довольно крепкие, и если он их не отпустит, то запросто может свалиться с досок. Помогая себе фейерверком от огнива, Мика сделал вывод, что на самом деле это все тот же пресловутый мох, или проросшие насквозь корни сосен с поверхности.

Вот, блин, сколько радости сокрыто под землей!

Некоторое время он плыл относительно спокойно, восстанавливая дыхание и унимая сердечный ритм. Стенки слабо светились, мертвец недвижимо лежал, доски плыли, не встречая сопротивления. Под ногами проплыло белесое тело, слегка извиваясь из стороны в сторону. Если считать, что вода увеличивает размер погруженного в нее предмета, а темнота, наоборот, уменьшает его, то получалось, что длина твари под ногами полтора метра. Это значит, что и глубина должна быть приличной.

Неосознанно Мика сунул руку в воду и тотчас же ее одернул. Действительно, не на рыбалку же он сюда приехал! Сделаться наживкой, чтобы изловить обесцвеченного монстра — ради этого стоило бежать с Соловков!

Барон еще успел криво усмехнуться своим нелогичным и путанным мыслям, как получил удар по лбу. Он был не шибко сильный, но вполне уверенный. А это кто такой? Или что такое?

А это верхний свод, который сделался ниже, чем до этого. Мика пригнулся и вытер лоб мокрой рукой. Коснувшись ею своих губ, сделал неожиданное открытие: а вода-то уже не вполне пресная!

Он вновь запалил свечу и обнаружил, что догнал в своем плавании выпущенную ранее фуражку. Значит, течение сделалось медленным. Значит, выход недалеко. Или — значит, что центр Земли тоже поблизости. Куда-то они с Прокопьевым приплыли.

А вот и связка досок перестала двигаться окончательно. Это потому, что концами уперлась в естественное препятствие. Тупик? Не может быть, ведь вода определенно морская, пусть и смешанная с пресной.

Делать нечего, нужно заниматься исследованием — не сидеть же здесь сиднем. К тому же что-то поблизости явно изменилось. Что? Шум. Доски не двигаются, а шелест слышен — то громче, то тише. Да это же волны! Точнее, это морской накат. Или сестра

клаустрофобии — галлюцинация.

Мика осмотрел препятствие впереди и пришел к выводу: скала. Теперь бы хотелось выяснить: нависает или лежит? Он потушил свечу и принялся очень внимательно присматриваться к воде. Вроде подсвечивается с той стороны, а вроде бы и нет. Вообще-то дневной свет должен через воду проходить запросто. Вообще-то, неясно, какое сейчас время суток.

Делать нечего: нужно лезть в воду. Мика разделся донага, на этот раз почему-то совершенно не чувствуя холода.

— Ты, землячок, за вещами моими присмотри, — сказал он Прокопьеву перед тем, как спускаться с плота.

Труп, естественно, промолчал. Вот было бы неестественно, если бы тот ответил!

Барон осторожно, втягивая в себя тощий живот, опустился в воду. Эх, не крещенская водичка! Того и гляди, судорога набросится.

Под ногами дна он не ощутил, зато руками нащупал явственный выступ, на ладонь ниже кромки воды. То есть, можно поднырнуть и плыть. А потом уткнуться головой в камень и захлебнуться. Однако такая перспектива его не устраивала.

Тогда Мика высвободил одну доску и подтолкнул ее перед собой. Она всплыла под скалистый выступ самым натуральным образом, но вперед продолжала двигаться вполне легко. Настолько легко, что через какой-то метр вовсе вырвалась из рук и опустилась ко дну концом, за который держался Мика. При этом стоило только слегка подтолкнуть, как доска вообще уплыла куда-то. Понятное дело, куда — на поверхность.

13. Игги и Тойво

Шагая следом за Блюмкиным, Тойво заметил, что его не покидает какое-то ощущение вины. Расставание с товарищами всегда неприятно, но теперь он чувствовал некую ответственность перед молодым деревенским парнем, волею судьбы заброшенным в самую подвижную часть механизма, именуемого «государство» — в шестерни. Эти шестерни или перемелют его, или он окажется их вернейшим движителем, или же он чудом из них вывалится. Теперь же помочь Мике, кроме его самого, не сможет уже никто.

Больше ни ему, ни Игги не доведется встретить на своем пути этого неунывающего карельского парня. Только гораздо позднее Антикайнен, занимаясь целенаправленным розыском, отыщет его следы. И этот розыск будет, увы, неутешителен.

В монастырской комнате, судя по всему спешно переоборудованной в «красный уголок», кроме Бокия находились еще два человека, чем-то неуловимо напоминавшие Тойво покойного эстонца Тыниса.

— Сегодня 21 июня, так что будем соблюдать все предполагаемые условия, — вместо приветствия сказал товарищ Глеб.

— Одно уже не соблюдено: было оговорено, что со мной будут работать два человека, — ответил Тойво.

— Их будет даже больше, чем два, — Бокий, не мигая, посмотрел заключенному прямо в глаза. Повисла пауза, которую никто из присутствующих нарушить не рискнул.

Тут в дверь раздался осторожный стук, и голос, принадлежащий, без сомнений, начальнику лагеря Ногтеву, пролепетал:

— Водочки не желаете, товарищи? Для улучшения настроения и поднятия, так сказать, жизненного тонуса?

«Братья» Тыниса очень даже оживились, а товарищ Глеб, наконец-то, отвлекся от созерцания Тойво. Он подумал несколько секунд и махнул рукой:

— Неси, начальник. И с собой нам сообрази — мы скоро выдвигаемся.

Тотчас же открылась дверь и вихрь разместил на столе белоснежную скатерть, на которую оказались выложены соленые огурцы, красная рыбка, дымящиеся расстегаи и запотевшие поллитровки со Смирновской водкой.

Помощники Бокия прослезились от умиления, а у Тойво в животе что-то громко и неприятно завыло. Немедленно также,

даже еще противней, завыло в животе у Игги.

— Ладно, и вы тоже попробуйте, — даже такой изверг, как товарищ Глеб, позволил двум заключенным приобщиться к трапезе: умрут еще, захлебнувшись слюной, или от заворота кишок.

— Это все от прежнего настоятеля нам осталось, — сказал Ногтев, имея ввиду столовые приборы, которые сервировали завтрак.

— Что, и рыбка тоже? — удивился Блюмкин и рассмеялся своей шутке.

— Что вы! — всплеснул руками начальник. — Только серебро.

Пока весь народ деликатно ел — а особенно деликатно, как понятно, ели зэки — Ногтев расписывал всю буржуйскую утварь, которую они экспроприировали.

— А что с самим этим Кононовым? — спросил, вдруг, Глеб.

— Так ничего, товарищ Бокий, — живо ответил начальник. — В двадцатом году его вывезли из монастыря и отправили перевоспитываться.

Архимандрит Вениамин, в миру — Кононов, прослужил на Соловках с семнадцатого года. Новый режим решил не склонять его к сотрудничеству, а, унизив и оскорбив, отправил в архангельскую глубинку на выселки, тем самым обрекая его на мученичество. Через несколько лет такое положение перерастет в великомученичество.

Прекращая проповеди опального архимандрита, несшие смуту в головы архангельских прихожан, его и соловецкого иеромонаха Никифора заживо сожгут 17 апреля 1928 года. Нет человека — нет проблем. Только так на все времена.

Помощники товарища Глеба после первой стопки раскраснелись лицами и стали с интересом осматриваться по сторонам, шмыгая друг другу носом. Антикайнену они напоминали теперь не вероломного эстонца Тыниса, а Добчинского и Бобчинского. Но только они были уездные помещики от науки, другого поля ягоды.

— Да, — сказал Добчинский. — А ведь сюда сама великая княгиня Елизавета Федоровна в 1913 году приезжала. Аккурат за 5 лет до расстрела.

— Что вы говорите! — удивился, то ли притворно, то ли не очень — не разобрать — Бобчинский. — И сам царь-император в одна тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году наведывался.

— Это который? Александр Второй? Что вы говорите! — вторил ему коллега.

— О чем они говорят? — спросил Игги, который не всегда

воспринимал русский язык, как великий и свободный, правдивый и могучий. За время своих скитаний по северным монастырям и соловецкой тюрьме он свыкся с церковно-славянским и вертухайским диалектами, поэтому иной раз смысл не догонял.

— Они говорят, что лучше водку жрать, чем по подземельям скитаться, — ответил ему Тойво.

— Что вы говорите! — хором сказали Бобчинский и Добчинский.

— Так! — очень тихо, но решительно заявил Бокий. — Все кто постарается увильнуть от выполнения нашего задания — будут расстреляны. Кто окажется саботажником — лично удавлю. Всем все ясно?

Помещики от науки сей же момент вскочили и вытянулись во фрунт. Блюмкин огляделся по сторонам и тоже поднялся по стойке смирно. Тойво и Игги, чуть помедлив, тоже встали. Только начальник Ногтев замешкался — он в это время, набив рот расстегаем, усердно закусывал стограммовую стопку водки. Но на него никто не обратил внимания.

Дальнейший завтрак прошел быстр и скомкано. Экспедиция, как себя величали люди товарища Глеба, разобрали свою поклажу и побрели к пристани. На монаха и красного финна нагрузили все лопаты и ломы, какие любезно предоставил Ногтев.

Тойво бросил быстрый взгляд в сторону кладовки, в которой должен был скрыться Мика, и кивнул Игги. Тот в ответ слегка пожал плечами. Ну, судьба-судьбинушка, не подведи ни барона фон Зюдоффа, ни их самих!

Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь.
Мы в засаде годами ждали, не взирая на снег и на дождь.
Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим.
Мы — охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин.

Море было спокойным, так что монастырский баркас застучал поршневым мотором и споро отчалил, держа курс на остров Анзер.

— Тревогу пока не подняли, — прошептал Тойво.

— Не обнаружили, — так же тихо ответил Игги. — Дай-то Господь!

Они больше переживали за судьбу оставленного Мики, будто их участь уже была решена в положительную сторону. Видимо, так успокаивающе подействовали съеденные расстегаи и красная рыба. От водки и тот и другой решили воздержаться. Никто, впрочем, и не настаивал.

Блюмкин о чем-то вполголоса переговаривался с Бокием, помещики от науки щурились на рассекаемую воду и слабый ветерок. Двигатель негромко рокотал, а вокруг — раздолье, словно и нет СЛОНа.

Его и не может быть — лагерь сам по себе противоестественен. Он из другого мира, из другой реальности. Его втащили сюда адепты Самозванца, стало быть, все здесь сущее, все творение Господа его отторгает. Природа — отторгает, мораль — отторгает, развитие — отторгает. Только человек эту мерзость способен принять, а, приняв — использовать. Черт, да будут прокляты те, кто СЛОН создал, кто его развил, и кто его пользовал! Ну, да, ну, да…

— Замечательно! — вдруг, сказал Добчинский, обернувшись ко всем. — Просто хочется читать стихи Эйно Лейно.

— Что вы говорите! — восхитился Бобчинский. — Непременно стихи, непременно финские. Пусть этот Антикайнен прочитает.

— Между прочим, этот Антикайнен представлен к Ордену Красного Знамени, и никто у него эту награду отнять не сможет, — ответил Блюмкин. — А читать нужно не страдающего шизофренией финского поэта, а наших. Например, Пиетелеяйнен и Жемойтелите.

— Что вы говорите! — обрадовался Добчинский. — По национальному признаку?

— Тьфу-ты, — сплюнул в воду Яков и насупился.

Тойво попробовал сосредоточиться — в самом деле, не на пикник же они едут! Эти помещики от науки, поди, гениальные экстраполяторы магнитных и силовых полей. У них в багаже какие-то специальные машинки имеются. В любом случае, пустых и никчемных людей с собой товарищ Глеб никогда бы не привез. Тот же Блюмкин, одетый не вполне обычно, все время за плечами сидор таскает. Вероятно, этот мешок не шибко тяжелый, раз не разлучается с ним, но в то же время очень даже ценный. Возможно, там одежда, весьма специфичная, которой больше нигде не найти.

Ну, а их с монахом какая роль? Искатели? Ну, да, не иначе. Им — найти, ученым — оценить, а Якову — идти.

Тогда их с Игги — в расход. Или обратно в лагерь, если выживут. Чтобы справиться с ними одного Бокия маловато. Добчинский и Бобчинский — не в счет. Нет, товарищ Глеб, без всякого сомнения, мог бы эффективно «помахать шашкой», да статус у него уже не тот. Не солидно как-то самому драться. В этом случае помощь будет нужна. Однако кто мешает отправить некоторое время спустя еще один баркас с солдатами?

Не ждать кавалерии, самим напасть, используя эффект неожиданности? Хотя эффекта не будет — у них все шаги просчитаны. Да и сил после долгого беспамятства и тюремного режима всяко меньше, чем у оппонентов. На сноровку и счастливый случай надеяться? Так уж лучше не надеяться.

Впрочем, это все некие организационные вопросы. Что же искать требуется? Понятное дело, дорогу к Рериху — если судить по реакции Бокия на его предположение несколько дней назад. Есть некие ворота — врата — портал. Есть «железные сапоги и хлеба». Только где они?

Монах, принявший имя Иисус, их нашел и стерег до самой своей кончины. От кого стерег? Может, просто жил рядом, потому что многое, что осталось здесь, в этом мире, от наших предшественников — истинно. А прикоснуться к Истине — разве не счастье для любого отшельника? Да и для обычного человека — тоже.

Хотя слишком много обычных людей, которым Истина не нужна. Судьи, например, политики, да и сам товарищ Глеб. Не, тогда лучше быть необычным. Не от мира сего.

Так Тойво ни с чем и не определился — они причалили к острову и начали выгружаться. Это дело прошло быстро, баркас тотчас же отчалил и уплыл по своим делам.

— Игги, если ты Святое писание хорошо помнишь, то мне твои знания пригодятся, — сказал Антикайнен монаху, когда они двинулись по дорожке к Анзерским церковным постройкам, то есть, Свято-Троицкому скиту, где когда-то постригли патриарха Никона. Понятное дело — не налысо постригли, а в священнослужители.

— Все Писание тебе нужно? — испугался монах.

— Думаю, Евангелие достаточно, — призадумался Тойво.

— Что вы говорите! — немедленно включился случившийся рядом Бобчинский. — Библия — кладезь мудрости и школа жизни.

— Учиться, учиться и еще раз учиться, — проговорил Антикайнен довольно угрюмо. — Коммунизму настоящим образом.

Помещик от науки немедленно отстал на пару шагов.

В ските было пусто, потому что монахи разбежались, прихватив с собой все самое ценное. Да и не самое ценное тоже прихватили. В этом им помогло соловецкое население, привыкшее никогда не бросать без присмотра вещи, необходимые, как в хозяйстве, так и в быту.

Когда вся экспедиция собралась внутри помещения, рассевшись, где придется, Бокий сказал:

— В общем так: перед нами ставится задача, и она должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Где-то на острове имеется некий выход, через который можно преодолеть за одну единицу времени тысячи километров. Требуется найти его до 24 часов сегодняшних суток. Полагаю, времени достаточно.

— Гм, — неожиданно изменив своему обыкновению, проговорил Бобчинский. — Нужно как-то определиться, в виде чего этот выход. Тогда можно сузить рамки поиска.

— Выход подразумевает и вход? — добавил Добчинский.

Товарищ Глеб кивнул головой, словно бы принял к сведению вопросы.

— Еще?

— Этот проход есть, или он подразумевается? — неожиданно спросил Игги.

— Мы считаем, что выход не является одновременно входом. Мы также полагаем, что таковые выходы не единичны. Но в большинстве случаев, как то Сейдозеро, Крым и тому подобное они двусторонние, что налагает определенные сложности. По совокупности характеристик геомагнитных линий вероятность существования оного на острове примерно 20 процентов. Чтобы было понятнее, в других местностях, даже так называемых аномальных, этот показатель не превышает шестнадцать процентов. То есть, шанс найти один к пяти.

— Тогда это может быть только твердое образование с плотностью камня — например, базальта или мрамора, — сказал Добчинский. — Или металл. Но последний подвержен коррозии. В любом случае, плотность объекта должна быть более, нежели газ или жидкость. Дерево тоже не годится.

— Почему? — удивился Тойво.

— При перемещении тела в единицу времени требуется замещение определенных частиц на их подобие, в которых практически отсутствует или замедленно естественное движение молекул, называемое «броуновским». Только в этом случае не происходит распыление или обратное замещение частиц. В данном случае, под единицей времени можно считать секунду или ее кратные доли.

Так сказал ученый Добчинский самым серьезным тоном.

«Вот пурга!» — подумал Антикайнен. «Хи-хи!» — вторил ему в мыслях Бобчинский. «Мели Емеля — твоя неделя!» — почесал затылок Блюмкин.

Как бы ни основательны научные доводы любых самых научных ученых, все равно база их раскладок, выводов, аксиом и теорем зиждется на неких константах, которые есть «постоянные» чего-то или кого-то. Например, свободного падения, Планка и так

далее. А скажешь, что они и есть «господний промысел», так засмеют и исключат из академии. С этим у ученых строго, не так, пожалуй, как с пресловутым «расовым» вопросом в генетике, но тоже мало не покажется. Ученые — материалисты, черт бы их побрал. Никого они так не любят, как самого себя. Им не до Господа.

— Тогда искать нужно не здесь, где еще церковный запах не развеялся, а возле Голгофской ламбушки, — сказал Тойво.

— Что все-таки это должно быть? — поинтересовался Бобчинский.

— Гроб, — ответил финн. — Как в Евангелие.

— «На том месте, где Он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен», - прочитал Игги. — «Он (Иосиф из Аримафеи), купив плащаницу, и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба».

Ученые ничего на это не ответили, пожали плечами и принялись совещаться. Они, как оказывается, очень даже неплохо ориентировались в библейских текстах, поэтому, отбросив весь скептицизм и критику, решали чисто деловые вопросы: где, что, в каком виде все это может быть. Такой подход и отличал их от настоящих ученых. Они, как понятно, были лжеученые.

Бокий им не мешал. Да и, вообще, он никому не мешал. Вот сейчас бы дать ему подходящим бревном по голове и бежать, куда глаза глядят! Да не получится: верный соратник Яша, наблюдательный и собранный, всегда был наготове, как сжатая пружина.

Почему Спасителя могли распять именно здесь, на никому не ведомом острове Анзер? Да потому, вероятно, что в человеческой своей ипостаси Он был множественен. Это потом он стал Один.

Если обратиться к древним сагам, то и Один был распят на вечном дереве Иггдрасиль. К тому времени Он был уже одноглазый, потому что заплатил какому-то злобному карлику, стерегущему источник Урд, за приобретенную мудрость своим вторым глазом. Выпив водицы из ручья, якобы, можно обрести могущество по выбору. Один остановил свой выбор на мудрости. Мудро, что и говорить!

Кстати, библейского Иисуса распяли на деревянном кресту, происхождение которого тоже не случайно. Когда-то он был деревом, которое произросло ни много ни мало, а из головы Адама, первого человека на Земле. То есть, голова была к тому времени уже черепом, но гигантских размеров, потому что и сам Адам был великаном. А потом случился Потоп, и дерево уплыло, вырванное из почвы. Но пришло время, когда вода спала и

крепкий ствол ясеня сметливые люди, вновь заполонившие Землю, решили использовать по назначению: из него сделали крест, чтобы на нем распинать «преступников». Иггдрасиль — тоже был ясенем, Вечным Ясенем.

О голове Адама тоже не забыли. Тот же Рерих написал странную и замечательную картину «Иса и череп великана». Иса — это, понятное дело, Иисус на мусульманский манер. Типа, странствовал он по миру и нашел возле, так сказать, Индии огромную мертвую голову, перед которой и преклонил свои колени в память о былой эпохе. Голову, которую кто-то когда-то отпилил. Просто Пасха какая-то.

Вот так и получается: память о прошлом и круговорот вещей в природе.

— А местный Иисус умер своей смертью? — неожиданно спросил Блюмкин.

— Ну, да — от естественных причин, — ответил Игги. — От камня в голову.

14. Макеев Михаил Федорович (продолжение)

Несмотря на то, что эксперимент с доской указывал на полость с той стороны, предположительно связанную с верхним миром, никакого света оттуда не поступало. Мика всматривался в воду — без толку. Ни одного даже самого мало-мальски солнечного лучика. Оставалось предполагать, что там еще один подземный водоем. Но шум, словно бы от прибоя? Галлюцинация, желаемое принимается за действительное.

— Ну, что, землячок, придется и тебе ноги промочить, — сказал он трупу и спихнул его под нависший кусок скалы. Тот не пошел камнем на дно, а уплыл куда-то в нужном направлении.

Отправить следом оставшееся имущество — дело нехитрое, вот с сухарями проблемка. Намокнут они, как пить дать — намокнут. Но делать нечего: придется надеяться, что не развалятся, и будет возможность их подсушить обратно.

Вода была холодная, Мика клацал зубами и воображал, как этот звук разносится над поверхностью воды, и где-то сметливые исследователи слушают и поражаются: шо цэ такэ? Ладно, пусть никто не слышит, пусть это будет его маленькой тайной. Плюсом было то, что вся жидкость была солоноватой — море все-таки недалеко. В остальном — сплошные минусы.

Барон набрал полные легкие воздуха и поднырнул под преграду, держась за свои доски. Мысль о том, что там больше не будет никакой поверхности, была неприятна и вполне могла вызвать состояние паники или даже панической атаки. Надо было думать о хорошем, только о хорошем. Розовый фламинго!

Не успел он додумать, как сверху над головой разверзся звездный небосклон, не настолько яркий, как августовскими ночами в родной деревне, но все-таки. Черт, оказывается времени потребовалось гораздо больше, нежели он предполагал. Уже ночь, стало быть, уже прилив.

Холодно до судорог. А тем людям, что возле костров — тепло. И от того, что ему к ним нельзя, сделалось еще холодней. Неловкими движениями Мика содрал с себя всю одежду, еле управляя окоченевшими ладонями. Разложил на ближайшем камне подмокшие сухари и принялся шевелиться: приседать и махать руками, тереть себе уши и щеки.

Расселина, из которой он вылез, во многом напоминала прочие по береговой линии. Хотя во время отлива, да еще при малом море в особо жаркое лето, поди, можно определить, что

там внутри. Но сейчас — вряд ли.

Белая ночь позволяла рассмотреть через пролив большой остров, где тоже горели редкие костры. Это значит, что вынесло его на берег Южных Железных Ворот, а с той стороны — земля под названием Большая Мукусалма. До Соловецкого монастыря недалеко, к тому же имеется хорошая наезженная дорога. Скоро сюда приедут вертухая и будут искать его: живого или мертвого.

От воды подымался туман, но держался невысоко — на уровне колен. После упражнений холод не отстал, но шевелиться сделалось легче, да и позывы к судорогам прекратились. А Прокопьев слегка покачивался на мелкой волне лицом вниз, бился лбом об острые камни и в ус не дул. Ничего, ему в его нынешнем состоянии это даже полезно.

Мика обулся, потому как босиком по камням скакать — это все равно, что стремиться на добровольных основах переломать себе ноги. Он побрел прочь от костров, спускаясь южнее, но ничего на берегу не обнаружил. Зато, вернувшись, двигаясь в сторону огней, нашел лодки. Не одну, но несколько.

Все они были вытащены на берег и лежали себе безо всяких замков. Зато и весел нигде не было. Такая вот предосторожность против воровства. Мика почесал себя в затылке: досками грести? Так не выйдет ничего. Эх, не предусмотрели такой вариант, а ведь именно так всегда поступали рыбаки. Ему захотелось выпить. Ну, да — можно и выпить, но лучше бы попить. Ни фляги нет, ни котелка — тоже об этом не подумали.

Судя по практически стихшим разговорам и смеху, люди у костров расходились спать. Вряд ли кто-нибудь останется кормить комаров возле затухающего огня, пойдут в свои рыбацкие избушки. Ага, все правильно — завтра с рассвета сети проверять, так что пара-тройка часов сна просто необходима. Причем, крепкого сна — кого им здесь бояться?

Мика одел на себя не успевшую подсохнуть одежду, передергиваясь всем телом от неприятного ощущения холода, и пошел к ближайшему костру, не забывая заглядывать по пути в лодки. В одной были весла, ничем не скрепленные и готовые, так сказать, к употреблению.

Поленились парни обезопасить свой утренний промысел — ну, да и спасибо им превеликое! Мика продолжил свой путь, теперь имея уже совсем другую цель. Вода — ему нужна питьевая вода. Неизвестно, сколько придется идти на веслах, без пития это продлится еще меньше.

Теперь уже было не страшно, коли его кто-нибудь заметит — решит, что один из рыбаков, беглые каторжане еще в новинку. Он увидел приземистую избушку, за ней — еще одну. Возле угла

первого же домика стояла бочка, куда по дождевому сливу натекала вода с крыши. Правильно — мыться же поутру надо! Рядом помятое ведро для хозяйственных целей и аккуратный ковшик из бересты — попить и умыться.

Ох, и до чего же вкусная оказалась дождевая водица! Мика, напившись, набрал ведро на три четверти и пошел прочь. Неплохо бы у костра какого-нибудь перекусить тем, что добрые рыбаки оставили. А не доели они, оказывается, рыбу — жаренную и запеченную в золе. Ну, да ничего — дикое зверье придет, растащит по косточкам. Или человек лихой с ведром придет — тоже приберет. Главное было то, что тут же лежала рассыпанная из бумажного фунтика соль. Ну, да — соль на Соловках в изобилии.

Мика поел рыбки, то ли наваги, то ли маленькой трески, макая кусочки в соль, запил водой из ведра, сдержанно рыгнул и подумал, что вот теперь-то можно и в море уходить. Еще минуточку посидеть возле щедро раздающих тепло угольев и двигаться дальше.

На соседнее сиденье, приспособленное из выброшенного на берег плавника, забрался какой-то хорек. Не хорек, конечно, но какой-то крысеныш. Ласка! Ага, именно она. Сидит, смотрит на затухающий огонь, и глаза-бусинки отражают его переливы. А вот и зайчик пришел. Ему-то что здесь делать, он же ночью спать должен? Того и гляди лисичка-сестричка пожалует, а за ней — волчок-серый бочок, и мишка косолапый.

Но пришел Прокопьев, сел поблизости, протянул к углям руки со скрюченными пальцами и стал ими водить туда-сюда, как шаман.

— Ты чего колдуешь, болезный? — спросил его парень.

— Так он невинно убиенных отгоняет, — басом сказала ласка.

— Убивец, вот и мается, — таким же басом добавил заяц.

Странное дело: звери, а разговаривают. За подошедшего к огню покойника никакого удивления не было.

— Ох, и душно мне, Мика! — сказал тем же, что и животные, голосом Прокопьев и, вдруг, неожиданно хватил парню кулаком по уху.

Тот от удара открыл глаза и обнаружил, что ни зайцев, ни хорьков, ни, тем более, трупа поблизости нет. Он просто уснул и упал головой о скругленное волнами дерево.

Черт, сколько времени потерялось? Мика посмотрел на небосвод — вроде бы ничего не изменилось, еще не светает. Да и рыба в руке совсем недоеденная. Он споро собрался и отправился к лодке, бывшей самой крайней в череде лежащих на берегу.

Еще раньше Мика заметил в ней воду, стало быть, посудина не рассохшаяся и пригодна для плавания. Да, к тому же, не так бросается в глаза отсутствие одной в ряду.

Уключины, конечно, поскрипывали, но нужно было выбраться на течение, которое было бы вдоль берега на юг. Он не знал, куда движется вода в проливе между островами, но всегда можно было найти нужные ему свальные течения. Когда же убедился, что лодку медленно несет вдоль берега, как и требуется, поднял весла на борт. Хотелось надеяться, что никто не услышит его полуночных гребков — звук по воде разносится далеко.

Какое расстояние придется преодолеть, чтобы пристать к материку, Мика не знал. Может быть, сорок или шестьдесят километров, говоря сухопутным языком. Лишь бы шторм не закрутил, но все прогнозы обещали на завтра жаркий тихий день. Лето, как никак!

Он посмотрел на теряющуюся в туманном мареве землю и, вдруг, увидел на небе то ли сполохи, то ли зарницы. Определить, над чем пляшут небесные отсветы, не представлялось возможным. Да ему это и не было, по сути, нужно. Мика верил, что это знамение связано с его былыми товарищами по неволе.

— Они ушли! — прошептал он. — Так, Прокопьев?

Но земляк не отвечал, выставив с носа лодки голову наподобие резного дракона на дракаре викингов.

— У них не могло не получиться! — добавил парень, и впервые за все время почувствовал, что все должно сложиться именно так, как и надо.

Когда рассвело, проклятый архипелаг вновь показался на горизонте. Судя по его виду, лодку отнесло течением километров на пять. Может быть, оптический обман, конечно, но время браться за весла пришло — теперь никто не расслышит ни шлепков по воде, ни скрипа уключин.

Сориентировавшись по солнцу, Мика начал грести, прерываясь, временами, чтобы попить воды и поесть рыбы с сухарями. Хорошо, что сызмальства он умел обращаться с веслами, когда, бывало, ходил с отцом на рыбалку к ближайшему озеру, либо ездил на саму Ладогу.

Скоро Соловецкие острова исчезли из виду, и сделалось неожиданно жарко. Мика соорудил себе повязку на голову, временами смачивая ее из-за борта. Оживленного судоходного движения в этой части Белого моря не предполагалось, но теперь нужно было как-то не заехать в Онежскую губу, а выбрать свой курс так, чтобы земля появилась слева. Там город Кемь и город Беломорск. Кемь следовало проехать, а вот Беломорск — то место, куда бы пристать. Не в город, конечно, а в окрестности. И,

желательно, совсем безлюдные.

Между тем солнце двигалось по небосводу, а никакого намека на сушу не намечалось. Мика чувствовал свою удивительную беззащитность посреди моря. Казалось, его можно увидеть с любой стороны, снарядить моторный баркас, вооружить винтовками Мосина охрану — и брать тепленького. Да еще рядом с холодненьким — трупом охранника — на кой черт он его тащит с собой через все море?

— Слышь, Прокопьев, выброшу я тебя, пожалуй, за борт! — сказал он.

Тотчас же рядом с лодкой вынырнул то ли большой тюлень, то ли маленький кит-белуха и принялся кружить вокруг лодки, временами шумно выдыхая воздух.

— Ну, а выброшу — сожрут тебя белухи, а потом и за меня примутся.

Он слышал рассказы на Соловках, как эти самые киты запросто переворачивали лодки с людьми и утаскивали последних в морские глубины. Непредсказуемые твари!

Но белухе, видимо, прискучило плавать кругами. Она последний раз вздохнула, так сказать, полной грудью, хлопнула по воде хвостом, обдав Мику и Прокопьева фонтаном брызг, и уплыла по своим делам.

— Ну, вот, так-то лучше, — прошептал парень, покрутив головой, и неожиданно увидел землю. Она была там, где и должна была быть — по носу лодки. И никаких прочих плавсредств поблизости!

Между тем сумерки, если так можно сказать касательно Белой ночи, сгустились. Суша опять пропала из виду, но Мике уже не нужно было на нее смотреть — важно было слушать. Шелест волн, накатывающихся на берег, не спутать ни с каким другим звуком.

Лодка уткнулась в дно уже глубокой ночью. Вокруг шелестел высокий камыш, шлепала по воде плавниками и хвостами жирующая на поверхности рыба. Где-то в кустах благим матом орала ночная птица — и никаких людей!

— Господи, спаси и сохрани! — прошептал Мика и только сейчас почувствовал, как же он устал! Плечи налились такой тяжестью, что, казалось, оторвутся сейчас вместе с руками. Он не сбил мозоли на ладонях в кровь, но потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы разжать сведенные пальцы.

Хотелось упасть на дно лодки и забыться, но этого делать было никак нельзя — он все еще оставался беглым зэком. Преодолевая сопротивление возмущенного организма, Мика выгрузил всю свою нехитрую поклажу на берег, а потом подошел

по воде к носу лодки.

— Вот так, Прокопьев, пришла пора прощаться, — сказал он мертвецу. — Ты, конечно, рыжий, но мало ли рыжих в Беломорье! Будешь отвлекать на себя внимание, коли тебя найдут. Ну, а не найдут — знать, участь у тебя такая. Собаке, как говорится, собачья смерть. Ты не собака, ты просто падаль. Я тебе убил, и я тебя не боюсь. Ни живого не боялся, ни теперь — мертвого. Ты — мое прошлое. Жить прошлым — умереть в настоящем. Умирать я пока не намерен.

С этими словами он развернул и затем оттолкнул лодку от берега, разогнав ее, сколько осталось сил. Она уплыла прочь и скоро исчезла в легком тумане. Вместе с ней исчез из его жизни и охранник из Соловецкого лагеря особого назначения былой парень из Олонецкой деревни Алавойне по фамилии Прокопьев. Скоро отлив подхватит суденышко и вынесет его на открытую воду. Утром прилетят чайки и выклюют у покойника все лицо. Люди, когда найдут мертвеца в лодке, удивятся и долго будут ломать голову: что же произошло? Или никто не найдет, ближайший шторм перевернет посудину — и все концы в воду, блин.

Просто странно иногда, как меняют нас года — вот беда.

Что сказал бы ты тогда, а теперь говоришь — ерунда.

И я искал в тебе хоть след, того, что держало нас вместе столько лет.

И я искал в тебе хоть слабый свет того, чего давно и в помине нет.

Подумав немного, Мика выбросил в воду и маузер. Не зачем ему чужое оружие, повоевал — хватит.

Двигаясь, как зомби, Мика собрал костер и запалил его огнивом. Живой огонь придал немного сил, которые он подкрепил согретой водой и чуть-чуть рыбой, закусив пригоршней сухарей. Вокруг сделалось удивительно тихо, как это может случиться только летней ночью вдали от городов и деревень. И тогда понимаешь, что мир прекрасен, потому что гармоничен. Природа — мать наша, а Господь — отец. Что же дети-то такие неразумные?

Мика сделал себе постель из лапника, подбавил дров в костер и, несмотря на назойливую песнь редкого комара, пробившегося через дым, заснул крепким сном без сновидений. Так может спать только действительно свободный человек, или тот, кто свободу себе выстрадал и добыл.

Он проспал до самого утра, и снилось ему — да ничего не снилось, словно в омут ухнул с головой. Мимо прошли лоси, понюхали спящего с расстояния в один километр и безошибочно определили: парень с Соловков сбежал — авой-вой! И ушли, ступая бесшумно и важно по своим делам.

Спросить бы у лосей: как учуяли? Не ответили бы лоси, а иначе всех сохатых давно в милицию определили бы беглых нарушителей закона выявлять. Аура такая у каторжан, а, особенно, у тех, кто по своему недоразумению в неволю попал. Все животные за версту это чувствуют. И сожалеют.

Первым делом из остатков сухарей, рыбы, соли и воды Мика сварил себе то ли суп, то ли кашицу — но до того вкусную, что съел все без остатка, хотя планировал изначально что-то сохранить на обед. Значит, нужно двигаться к человеку поближе, потому как лес в июне накормить пока еще не может.

К людям лучше всего идти по железной дороге, чтобы не плутать. Иначе люди могут придти к тебе, а это нежелательно.

Мика в свежей обувке, которая была слегка великовата, ощущал себя вполне комфортно. Из своих обветшавших штанов он наделал портянки, чтобы не сбить ноги в кровь, а брюки покойного Прокопьева одел на себя — они тоже были впору. Гимнастерку все же примеривать не стал и приспособил под узелок, уложив в нее гвозди. Вид у него получился еще тот! Вот доски пришлось оставить, а жаль! Хорошие были доски, и плавать на них — одно удовольствие, и прибить можно куда угодно. Вот только не таскаться же с ними по лесу! Лоси засмеют.

Болтался Мика по лесу, стараясь, чтобы солнце всегда светило в спину, пока не начали попадаться первые следы человеческой жизнедеятельности. Он нашел зимнюю вырубку, несколько одиночных отхожих мест, да, к тому же одноразовых, а также висевшие на уцелевшей сосне железные когти. Хорошие когти — кошки — с их помощью можно запросто на самое высокое дерево залезть и оттуда кувырнуться вниз с двумя оборотами, прогнувшись.

Мика повесил когти себе на шею и пошел дальше. Если рубили лес, то его и вывозили. При условии, конечно, что голодные бобры и муравьи все не сточили. Обнаружилась и дорога, уже проросшая вредной растительностью: кустами, березками и крохотными елочками. Ну, вот, теперь этот тракт его до самого Киева доведет.

Во второй половине дня путь его вывел к делянке, на которой лес-то и складировали, чтобы тот дожидался вывоза. Правильнее было, конечно, устраивать такое место возле реки, чтобы сподручнее было сплавлять. Или, например, возле железной

дороги.

Так Мика и набрел на колею, которая терялась где-то на севере и уходила в горизонты юга. Там стольный город Петрозаводск, там и до родных мест рукой подать.

Железная дорога — это объект стратегического назначения, поэтому обязательно должны курсировать дрезины военизированной охраны. А также, конечно, поезда: курьерские, литерные и прочие. К поездам Мика относился недоверчиво, в одном из таких эшелонов его и вывезли на вечную каторгу. Зато дрезины уважал, но не очень.

Вон, едет одна с Кеми, наверно. Пока не видно, но шуму изрядно. Мика споро побросал гвозди в узелке под куст, а сам залез на ближайший столб. К его удивлению при помощи когтей это удалось проделать быстро, можно с белками соревноваться. Он затих на самом верху, притворившись, что что-то трогает и что-то проверяет. Ага, вот что — телефонопровод.

— Эй, здорово! — крикнули ему снизу.

В дрезине было три человека: два с ружьями и один в юбке и косынке.

— Откуда едете? — вместо приветствия прокричал Мика.

— Из Беломорска! — ответил ему человек в юбке. Голос у него был приятный, и он догадался — это девушка!

— Номер по путевому списку какой? — опять строго вопросил он. — Телеграфного столба?

— Да пес его знает! — отозвался человек с ружьем. — Скоро пассажирский пойдет, больше дрезин не будет до утра. Может, подбросить?

— Отлично! — через некоторую паузу отозвался Мика. — Вы в Идель? Я уже тут закончил. Сейчас!

— Не, не в Идель, — лениво отозвался другой вооруженный охранник.

— Но там недалеко! — добавила девушка.

Про станцию Идель Мика слышал, но не имел понятия, где она и что она.

Когда он слез, то подхватил свой узелок и устроился с кошками на шее на свободном месте. Пришлось представиться.

— Барон фон Зюдофф — сказал Мика и, вздохнув, добавил. — Михаил Макеев, Лодейнопольский участок пути. Командировка.

Кончился барон. Кончились Соловки. Все плохое кончилось, а, точнее, получило отсрочку на одиннадцать с лишним счастливых лет.

Мика добрался до своей работы, где его уже уволили за прогулы. Объяснил, что похитили лиходеи прямо с путей,

уволокли в лес, где и заставляли батрачить. Начальство подумало, что забухал парень, но разбираться не стало. Выдали честно заработанные деньги, документы и отпустили на все четыре стороны. Гуляй, работник!

И Мика гулял до самой своей Родины — деревни Кавайно. Вместе с отцом работал бондарем-плотником, женился на том человеке в юбке с красивым голосом, обзавелся детишками и очень любил в одиночестве сидеть под вечер на окраине деревни и смотреть, как догорает закат. О легендарном Тойво Антикайнене он не сказал никому, как и о замечательном монахе Игги. Разве что жене своей, да детишкам, а те — своим детям и внукам. Такое семейное предание.

Макеев Михаил Федорович, 1902 года рождения, уроженец дер. Кавайно Олонецкого района, бондарь-плотник. Коллегией ОГПУ 09. 03. 34 года приговорен к смертной казни по статье 58 (контрреволюция) — 06 (шпионаж) — 09 (диверсия) УК РФСР, замена на 10 лет ИТЛ на Соловках, по 58-06-11(организационная деятельность) особой тройкой УНКВД по ЛО 25. 11. 37 года приговорен к расстрелу, 08. 12. 37 года убит в Ленинграде.

Ему было тридцать пять лет. Соловецкий архипелаг просто так не отпускает.

15. Игги и Тойво (продолжение)

У стороннего наблюдателя вполне могло сложиться мнение, что все поиски волшебной «двери» — это авантюра от начала и до конца. Однако не было здесь сторонних наблюдателей. Да и приехавшие на остров парни только внешне могли напомнить восторженных идеалистов, либо сошедших с ума материалистов. У каждого была своя задача, предварительная подготовка к решению которой отняла немало сотен и тысяч часов.

Казалось бы, чего проще собрать специалистов и заставить их напрячься! Но не тут-то было. Нет такого таланта у организаторов современности. Да и в прошлом — тоже не было.

У Бокия — был. Власть у него после революции была поистине безграничной, но опять же — в достаточно узких рамках. Эти рамки определялись самой сущностью человеческой природы. Точнее, ССП (сводом сволочных правил) общечеловеческим. Ни страх, ни посулы, ни даже убежденный фанатизм не могли заставить сделать человека то, что требовалось. Это не в человеческих силах, однако вполне в силах Господа, творца всего сущего. Только пути Его, как водится, неисповедимы.

Зато есть Самозванец, рвущийся в этот мир. По сути своей — разрушитель, он овладел сердцами миллионов и даже, пожалуй, миллиардов людей. Его адепты берут власть, создавая, так называемые, государства, они рулят религиозными формациями, как бы те ни величались, щупальца Самозванца проникли везде.

Везде, да не везде. Есть одна вещь, которая досталась всем без исключения творениям Господа, поименованным Homo sapiens. Именно она и есть та самая субстанция человечества, определяющая бытие. Можно подумать, что это душа. Но нет — только часть той самой души.

Это совесть, и она у всех людей, что сотворил Господь, одинакова. Просто оболваненные пропагандой или одурманенные корыстью «человеки разумные» могут ее не слушать. Но не слышать ее они не могут.

Кто таков был Бокий, человек со змеиными глазами? И был ли это вообще человек? Конечно, убежденные материалисты и заслуженные историки ответят словами из Большой Советской Энциклопедии, в лучшем случае. Или сошлются на Википедию. Ну, да и ладно. Дело не в этом, дело в том, что ему нужно было от этого мира то, что сам он никак не мог получить — только из чужих рук.

Поиски Шамбалы уперлись в Сампо, легендарную мельницу

карело-финского эпоса. Ну, а один из подневольных руководителей будущего «шифровального отдела», Александр Михайлович Барченко, ученый широких взглядов, плеяду которых принято называть «авантюристами» и «лжеучеными», эту самую мельницу, как идею, и развил. Экспедиции в Сейдозеро и Ловозеро были плодотворными и вполне секретными. Поиск велся и никогда не прекращался. Нужен был лишь феномен, за который можно было уцепиться.

Бокий вспомнил об Антикайнене, ну, а поделившись некоторыми воспоминаниями с Барченко, решил: это то, что нам нужно. Ну, а Александр Михайлович со свойственной ему экспрессией воскликнул:

— Кровь! Кровь! Все дело в крови!

Самым сложным было уговорить Блюмкина, но тот внезапно воодушевился сам. Как донесли одни внимательные люди: импульсом к этому послужила встреча с одним странным субъектом, которого покойный Тынис обозначил, как Куратора. Встречался эстонец с ним, или иным образом знал? Теперь уж не выведать, спекся Тынис.

Да и пес с ним, с этим Куратором, пес с ней, с организацией «Дуга» — раз они нигде не пересекаются, стало быть, блюдут разные интересы.

Еще больше удивился Барченко, когда Бокий поведал ему о том, как быстро Антикайнен догадался о целях их экспедиции.

— У него определенно имеется связь с ноосферой. Может, он сам того не знает, но это не играет роли. Отличный проводник!

Теперь на Анзере товарищ Глеб собирался довериться чутью красного финна, заранее подготовив специалистов, которые будут, не вдаваясь в подробности, искать неведомо что и неведомо где с применением всех технических новшеств и своих парамедийных способностей.

— Ну, куда теперь?

Вопрос Бокия послужил сигналом к тому, чтобы выходить из пустовавшего скита.

— Пошли к тому месту, где жил монах, — за всех ответил Блюмкин. — Гроб-то сохранился?

Вообще-то под гробом подразумевалась некая пещера в скале. Это пока таких пещер незанятых хватало — они считались гробами. Позднее по мере расселения людей с этим начались проблемы. Но человек всегда найдет выход. Ящик из струганых досок — чем не гроб? Человек из лона матери приходит, поживет, сколько положено, да и в другое лоно уходит — в мать-сыру землю. Через тот пресловутый гроб в разных его проявлениях.

Могила монаха-отшельника как раз сохранилась, рядом же

пещерка, где нашли его нетленное тело.

— Позвольте, — удивился Игги. — Две могилы, однако, должны быть.

— Это как? — вопросил Яков.

— Ну, первая — Елеазара Анзерского, преподобного отшельника, вторая — Иисуса. Они же тут обитали, совершая пустынный подвиг, каждый — свой.

— Вместе? — спросил Добчинский.

— По очереди, — попытался объяснить Игги, но осекся. — Каждый в свое время.

— А кого тогда камнем по голове? — попытался уточнить Бобчинский.

— Елеазара, — потерянно ответил монах. — Чего-то все запутано.

Путаница, пронесенная через века трудами определенных людей делается фундаментальной историей. В историю, которую пишут в учебных пособиях, принято не верить. Историю, которую пишут в учебных пособиях, принято допускать. Все равно она в большей степени — вранье.

Так, во всяком случае, думали почти все из Анзерской экспедиции. Только Бокий ничего не думал. Он, подлец, знал.

Отшельники — это люди, которые отошли не только от мирской суеты, но и от любых церковных движений. Они всю свою жизнь изучают Святое Писание, по мере просветления отметая в нем всякий сор, наметенный вековыми политкорректными правками. Они непонятны государствам и не очень приятны церквям.

— Тойво, ты в состоянии отвлечься от Иисуса и Елеазара? — спросил товарищ Глеб. — Времени у нас не так, чтобы много. Надо искать.

Антикайнен с отрешенным видом стоял возле входа в пещеру, упершись о камень плечом. Он, конечно, слышал весь разговор, но размышлять вслух не торопился. Он, словно бы, к чему-то прислушивался.

В голове у Тойво была полная пустота. Иной раз накатывал непонятный шум, словно бы одновременное мычание нескольких сотен коров. Или, скорее, это походило на многократно наложенное эхо звука «му». Или звука «у». Стоит прислушаться — весь шум пропадает. И снова — пусто. Блин, черт его знает, что искать? Времени мало? «Time is the fire in which we burn». Время — это огонь, в котором мы горим.

— Я один слышу голос призрака, который пошаливает на острове? — проговорил Антикайнен. — Этого усопшего монаха?

— И что он говорит? — усмехнулся Блюмкин.

— «У», говорит. «Уу».

— Баранки гну, — ответил Яков. — Хорош придуриваться.

— Позвольте, позвольте, — вмешался Добчинский. — А вот сюда отойдите. Здесь слышите?

И он указал на место возле могилы немного в стороне от пещеры.

— Здесь не слышу, — отойдя в указанное место, заметил Тойво.

— Все понятно: резонансная частота, — сказал Бобчинский.

— Человек-локатор? — спросил Яков. — Ухо — горло — нос?

— Радар, — невозмутимо поправил его Добчинский.

На самом деле Антикайнен грешил на травму, от которой совсем недавно излечился, а не на свои удивительные способности. То, что когда-то вне яви — то ли в полусне, то ли в полубреду — ему доводилось общаться и со сказочным Паном, и с не менее легендарным рунопевцем Архиппой Перттуненом, в лагерном быту как-то подзабылось.

Что же тут вырисовывается? Два замечательных отшельника истинной Веры здесь обитали до скончания своих веков. Одного похоронили, точнее — перезахоронили. Другой куда-то потерялся. Точнее, о нем как-то позабыли.

Тело, что было обнаружено в каменном гробу, было нетленным, отчего сделали вывод, что оно принадлежит, вернее — принадлежало, Иисусу. Его тоже обнаружили не сразу, а только через сорок с лишним дней после того, как тот перестал выходить на связь. Но если нашли его в пещере, да еще закрытой могильным, так сказать, камнем, каким же образом покойник затворился?

— Надо искать в этом гробу аномальный камень, — предложил Добчинский. — Он не может не отличаться от прочих своими параметрическими характеристиками.

— Какими? — спросил Бокий.

— Теплопроводностью, — сказал ученый, но его товарищ Бобчинский энергично затряс головой.

— Что такое? — поинтересовался начальник экспедиции Глеб.

— Не согласен: при разной теплопроводности имели бы место разрушения на пограничных с этим камнем объектах. Трещины, сколы и тому подобное — объяснил тот.

— Ну, и что? — хмыкнул Блюмкин. — Надо искать камень возле разрушенных.

— Согласен с моим коллегой, он прав, я поторопился с выводом, — ответил Добчинский. — За год появились бы деформации, за десять — обрушилось бы несколько элементов

пещеры, за сотни лет — образовался бы общий провал. И от этого гроба ничего бы не осталось, только хаотичное нагромождение скальной породы.

— То есть, по плотности все это должно быть примерно одинаково? — уточнил товарищ Глеб.

— Именно так, — хором согласились оба ученых.

Тойво не особо вслушивался в их разговоры, он думал о чем-то другом. Наконец, обратился к монаху:

— Слушай, Игги, а почему по воскресению Спасителя в одном Евангелие был единственный ангел в белых одеждах, а в других — два ангела?

— Ну, вероятно, камень могильный отпереть одному было бы тяжеловато. Запирали-то Иосиф с помощником. Вот и отпирали — два, — пожал плечами тот.

— Ну, вы даете! — восхитился Блюмкин. — Ангел же силен, как черт! Прости меня, Господи! Ему помощники не нужны!

Он непроизвольно перекрестился, позволив столь нелестное сравнение.

А Бобчинский с Добчинским в это время вытаскивали из сумки какое-то хитрое оборудование, ни на кого не обращая внимание и переговариваясь.

— Если время стремится к нулю, то может быть изменена частотная модуляция объекта.

— Нет, не частота, а проходимость по длине волны.

— Тогда изменение упорядоченного движения может создавать свои микротоки.

— Точно, и это влечет к перемене электромагнитного поля.

— В таком случае инфракрасный и ультрафиолетовый анализ бессмыслен. Надо проверить колебания и сопоставить их с прочими.

— Осциллограф!

— И та штучка Лодыгина.

— Тогда идем в этот гроб.

— Непременно.

Тойво отвернулся ото всех.

Если же допустить, что в пещере был найден Елеазар, похороненный по библейским мотивам в скале, то Иисус куда-то подевался. Ну, справедливо сказать, что вознесся. Однако вряд ли он лежал в гробу по соседству со своим предшественником, а потом именно он воскрес, а другой — нет. Конечно, пути Господа неисповедимы, но не до такой же степени.

Это в нынешнее время каменный гроб открыт для посещений. Во времена Иисуса такого не было. Тогда где мог отверженный Петровский духовник постигать истину? Не в скалу же он, право

слово, залезал всякий раз, когда выходил на пост. Григорий Новак, более известный, как Распутин, на задворках своего Тобольского дома яму вырыл, где и сидел по сорок дней в посте и молитвах. Значит, должно быть еще что-то, а не только пещера.

— Гражданин Антикайнен, — раздался голос Добчинского из гроба. — Не могли бы вы нам посодействовать? Послушать, так сказать, голос призрака и определить, где он сильнее?

— Уу, — тотчас же отреагировал Блюмкин. Монах перекрестился.

— Сейчас, сейчас, — ответил Тойво и обратился к своему товарищу по несчастью. — Мне нужна твоя помощь.

Игги охотно откликнулся на идею поиска укромного места для молитв и откровений.

— Чтобы это было недалеко от пещеры, — напутствовал Антикайнен. — С тропы не должно просматриваться. Дождь и снег не должны проникать. Ну, как пустынники обустраивались, тебе виднее. Сделать скидку почти на двести лет, что-то могло зарасти, что-то — разрушиться. В общем, подумай, как следует.

Он чувствовал, что ученые пошли не по тому пути, но не мог им это объяснить. Вполне возможно, что они что-то обнаружат, поэтому чем больше будет охваченных направлений, тем больше у них шансов. На Блюмкина полагаться не следовало. Почему-то тот был настроен крайне несерьезно и недоверчиво. Однако Глеб не делал никаких замечаний, стало быть, это могла быть просто роль такая, скептическая, чтобы подстегнуть поиски. Время-то шло! Тойво вошел в пещеру.

— Вот здесь лежало тело, — указал на ровный, словно бы стесанный, камень Добчинский. — Контуры до сих пор просматриваются через наш томограф.

Антикайнен посмотрел в крошечный, со спичечную коробку, зеленоватый экран, от которого отходил некий раструб, и увидел на нем темный силуэт, размахивающий руками. Ого, тело давно похоронили в земле, а контур тела до сих пор гневается и активно двигается! Шайтан!

— Да вы не на моего коллегу смотрите, — раздался голос Добчинского. — А на смертный одр, если так можно высказаться!

Тойво смущенно хмыкнул и переместил раструб в указанном направлении. Действительно, на отливающем зеленью выпуклом экране стал различаться темный предмет, словно бы тень, своими очертаниями, напоминающий распростертого человека: скрещенные на груди руки, ноги, голова — все, как и положено покойнику.

— А так можно увидеть тени всех мертвецов, или только праведников? — спросил он и вздрогнул так, что едва не уронил

наземь пресловутый томограф. Внезапно прямо на него взглянула отвратительно оскаленная рожа в негативе: зубы в хищном оскале, язык шевелится, как у змеи, глаза, как блюдца.

— Ну, что же вы, коллега! — укоризненно произнес Добчинский.

— Простите, уж больно велик был соблазн, — ответил Бобчинский, немедленно прекративший кривляться в направленный на него раструб.

— Однако у вас шуточки! — вмиг пересохшим ртом проговорил Тойво, отдал прибор и вышел наружу.

Тотчас же Игги потянул его за собой. Кивком головы он указал на маленькую, поросшую по краям корнями и мхом, дыру в земле — как раз недалеко от пещеры, если держаться левее по склону горы Голгофа. Она напоминала нору животного, давно брошенную и уже ничем не примечательную. Вокруг нее колосились кусты и при беглом осмотре рассмотреть дыру было решительно невозможно.

Не говоря ни слова, монах поднял с земли сухую березовую ветку и ткнул ею в нору. Та немедленно уперлась в стенку и сломалась.

— Ну, вот, метр глубиной, — сказал Игги. — Как раз хватит.

Тойво хотел вслух удивиться и возразить, но его опередил сам Блюмкин.

— Да ты что — смеешься, что ли? — заявил он, вложив в голос все пренебрежение, на какое был способен. О, его способности, поистине, были безграничны! Оказывается он слышал все, о чем до этого говорили заключенные. — Трамбоваться в эту дыру, чтобы найти там «укромное места для молитв и откровений»?

— Если позволите, я покажу, — нимало не смутившись, проговорил монах. Он обращался к самому товарищу Глебу, и тот в согласии кивнул головой, никак не выражая своего отношения к этой ситуации.

Став на карачки, Игги по-собачьи залез в нору — только пятки остались торчать. А потом пятки исчезли.

— Чего он там — в клубок что ли свернулся? — недоверчиво заметил Яков.

Антикайнен склонился над дырой и тотчас же у него в ушах раздался «голос призрака». Он подхватил обломанную березовую ветку и пошевелил ею в норе, но никакого препятствия в виде скрюченного в три рубля монаха не обнаружил.

— У, — сказал он. — Уу.

— Сбежал, гаденыш? — сказал Блюмкин. — Телепортировался, подлец. Теперь, хоть вой, хоть не вой — тебе

отвечать.

— Да нет! — объяснил Тойво. — В ушах у меня «ууу». Зови ученых. Выкури их из гроба, а то они черт знает чем там занимаются!

Пока товарищи научные деятели, пререкаясь и возражая, нехотя вышли из пещеры, Игги снова вылез из норы. На этот раз головой вперед.

— Фокус-покус, — объявил Яков. — Аттракцион: исчезающий монах.

Зависла пауза, которую никто не мог нарушить: ученые ничего не понимали и только крутили головами туда-сюда, Блюмкин, отчего-то возмущенный, дулся, как мышь на крупу, Антикайнен морщился, силясь унять неприятные звуки в ушах, то появляющиеся, то исчезающие, а монах просто молчал, глядя куда-то себе под ноги.

— Докладывай! — наконец, сказал Бокий.

— Я нашел портал, — ответил Игги. — Прочие поиски можно прекратить.

16. Портал

Товарищ Глеб задумчиво кивнул головой, а Яков, не в силах сдержаться, осторожно, будто бы облегченно, выдохнул. Тотчас же, словно вспомнив о своих обязанностях скептика, юркнул, как мышка, в нору и тоже пропал.

Он появился обратно несколько позже, чем это сделал монах. В руке он держал прогоревшую спичку. Выглядел Яков так, словно бы не произошло ничего необычного.

— Там дыра под прямым углом поворачивает в сторону и приводит в еще одну пещеру, — объяснил он. — Точнее, в пещерку. Скала вокруг.

Блюмкин дернулся, было, отослать всех участников экспедиции, чтобы те не могли услышать дальнейший доклад начальнику, но Бокий поднял руку.

— Все равно все должны знать, — сказал он. — Обрисовывай ситуацию.

И Яков обрисовал.

В пещерке ровный, словно бы утоптанный, земляной пол, в стене по левую руку есть ниша, где можно установить свечку. Также рядом валун, сточенный так, чтобы на нем можно было держать книгу или чашу с водой. Справа от хода под углом в 10–15 градусов — вертикальная плита. Тоже каменная, шероховатая на ощупь, то есть — не полированная. Но поднесенная спичка отражается внутрь, будто бы это блики зеркала в зеркале. Больше ничего не отражается, только огонь.

— Однако двум человекам там не развернуться, — закончил свой доклад Блюмкин.

Приняли решение расчистить вход в нору и расширить его. Расчистить удалось, вот только расширить — нет. Пришлось бы долбить саму скалу, а для этого не было ни средств, ни времени.

Ученые по-очереди шмыгали в дыру и через оговоренные десять минут вылезали, восторженно обмениваясь своим изысканиями.

— Это такой же камень, однако с искаженным электромагнитным полем, — сказал Добчинский.

— У других камней вообще никакого электромагнитного поля нет, — дополнил Бобчинский.

— И он проводит электрический ток, но только изолированно от прочей скалы, будто изолированный проводник.

— Сюда должны бить молнии во время грозы, а по ночам над этой горой рождаются сполохи.

— Вероятно, именно в этом минерале меняется физика,

потому что в нем меняется время.

Бокий не мешал ученым обмениваться мнениями, проводить экспресс-анализы и составлять какие-то таблицы. Однако от его внимания не ускользнул тот факт, что Антикайнен озабочен чем-то еще. Ах, да, «железные сапоги» и «железный хлеб» — если верить сказкам, то без них никак не обойтись. Ну, что же, придется спуститься к ламбушке — ведь другой воды поблизости, вроде, как нету.

— Что же, осталось найти кое-что еще, — сказал во всеуслышание товарищ Глеб.

Игги, словно бы предваряя вопрос своего сокамерника, заметил:

— Ключей подземных в доступной близости нет. Да и не могут они быть, раз целое озеро в нескольких десятках метров. Его и нужно осмотреть.

— Эх! — вздохнул Тойво и очень тихо добавил. — Надеюсь, у тебя не может быть сомнений, кто будет проводить этот подводный осмотр.

Конечно, если есть заключенные, их и бросят в воду, как щенят, заставят ползать по дну раком, копаться в водорослях и тине. Хоть на дворе и июнь, но вода студеная, часик в воде посидел — и всю оставшуюся жизнь можно на женщин не смотреть.

Но к удивлению сокамерников в воду полез Добчинский, натянув на себя поверх теплого белья резиновый водолазный костюм. Ламбушка, конечно, была бездонной и полна окуней, щук и прочей рыбы, но вряд ли требовалось нырять и обследовать глубины — снаряжение для прохода через портал не должно быть упрятано в полной недосягаемости. А озерные водоплавающие беспокоили искателя в самой малой степени.

— Раз на металле может быть зеленый налет, значит, будем искать медь — сказал Бобчинский. — Все, как в сказках.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Впрочем, это не относилось к Добчинскому. Побарахтавшись возле берега с пробирками с четверть часа, он сузил область поиска: только возле больших, словно бы хаотично набросанных камней, уходящих прямо под воду.

— Товарищи! — возмутился Бобчинский. — Да ведь это ступени! Вы их не могли разглядеть?

— Могли! — хором сказали прочие члены экспедиции. — Но не разглядели!

А Добчинский что-то захрюкал из ламбушки, точнее — забулькал. Если бы, конечно, он что-нибудь по-человечески сказал, обратили бы внимание, а так — все на него наплевали. И

напрасно.

Он тужился, тужился, потом негодующе хлопнул ладонями по поверхности озера, так что любопытствующие щуки весом от одного килограмма и выше повыпрыгивали из воды. На щучьи выкрутасы обратили внимание все и тут же затосковали. Никто из собравшихся не был чужд хорошей рыбалке, а тут — ни снастей, ни времени!

— Что там у тебя? — недовольно спросил Бокий.

Добчинский выплюнул загубник трубки аппарата подводного дыхания и объяснил:

— Кольцо нашел каменное, но достать его не могу, как бы ни напрягался. Крышку какую-то держит.

Нечего делать: стянув с себя штаны, залез в воду Игги. Через некоторое время им на помощь пришел Тойво. Потом Бобчинский. Когда же и помощь Блюмкина ни к чему не привела, товарищ Глеб предположил:

— Может, его и не надо вытаскивать?

— Надо, надо, — обиженным тоном капризного ребенка сказал Яков. — Давай к нам!

Но тут Игги, старательно ощупав всю крышку, сунул руку в обнаруженную щель и вытащил пару металлических «портянок». По его примеру тоже самое проделали каждый из находившихся в воде. Все они затем вылезли на берег и начали клацать зубами от холода. Солнце тем временем клонилось к горизонту.

Добчинский, как самый подготовленный водолаз, нашел поблизости от первого и второе кольцо. Из-под крышки его он извлек «хлеб».

— К этим каменным рукоятям ранее поплавки привязывались, — объяснил он. — Все просто.

— Чего же ты раньше не додумался до этого, заставил нас всех задницы мочить? — недовольно проворчал Блюмкин.

Ну вот, собственно говоря, и все. Самые смелые предположения, подкрепленные годами изысканий, воплотились в находки, которые оставалось задействовать по назначению. Конечно, не обязательно, чтобы экспедиция пошла по пути далеких предков, вполне возможно, что они, мудрее и опытнее своих последователей, преследовали иную цель. Определить это можно было только опытным путем.

Они развели костер возле входа в гроб Елеазара и наскоро перекусили. Добчинский и Бобчинский выглядели вполне умиротворенно — задачу свою они выполнили, теперь от их стараний ничего уже не зависело. Разве что слегка любопытно было, как дальше дело обернется. Но, поработав с Барченко, и тот, и другой навидались всякого, что называется, околонаучного.

Поэтому, поступи приказ уходить — ушли бы, не оглядываясь. Нести людям знание не входило в их функционал.

Блюмкин был вполне спокоен. Вероятно, так было и на самом деле, потому что в отличие от него даже всегда хладнокровный, как змея, Бокий, казалось, несколько нервничал. Про Тойво с Игги и говорить было нечего — они очень переживали.

Их состояние можно было понять: они ждали подвоха. В России с заключенными последнее время не церемонились. Да что там — в мире не церемонились. Тойво вспоминал незадачливую судьбу Алгота Тиетявяйнена, в мире известного под псевдонимом Майю Лассила.

Замечательный финский писатель, сгинул, словно его и не было, в мае 1918 года. Прожорливость революции измеряется в сожранных ею великих людях. Но ведь сама по себе эта чудовищная тварь пищу не ищет — ее поставляют люди.

Антикайнен в школе шюцкора зачитывался великолепной книгой «За спичками», не стесняясь, хохотал, чем приводил в изумление прочих курсантов. Разве можно смеяться над строчками? Можно, если их написал Алгот Унтола — очередной псевдоним парня из деревни Рускеала, что возле той самой Сортавалы.

Тойво знал, что писатель сначала учительствовал где-то в Раахе, а потом переехал в Санкт-Петербург. Поддержав красную революцию, Унтола ни разу не пересекся с ее лидерами — с Куусиненом, с Гюллингом или Рахья. Для неуловимого Алгота это было, вроде бы как, типично. Считая своим домом Тохмаярви, он тем не менее постоянно переезжал с места на место. Даже престижную в Финляндии литературную премию Унтола не получил — не смогли его найти. А потом он просто отказался ехать в Хельсинки.

Выходит, поддерживал революцию писатель только на словах. Однако это было, видимо, еще опаснее, нежели бегать по улицам с винтовкой наперевес.

Унтола выследили специально обученные люди и арестовали 12 апреля 1918 года. С той поры он перешел на полное бесправное положение — стал заключенным. Даже для обладающего замечательной фантазией и великолепным чувством юмора Майю Лассила это было невообразимо. Вероятно, и неприемлемо.

Однако продлилось такое положение совсем недолго. Уже 21 мая на пароходе из Хельсинки в Сантахаминскую тюрьму известного писателя Майю Лассила убили прикладом винтовки по голове и несколькими ударами штыка в грудь. Тело сбросили в волны и поплыли себе дальше. Свидетелей этого события было

предостаточно, но следствие не велось. Подумаешь, писатель!

И сделали это не распропагандированные в своем варварстве красные. Убийство литературной гордости Финляндии на счету демократически настроенных борцов с коммунистическим террором.

Что и говорить о судьбе двух безвестных заключенных Соловков!

Конечно, хотелось бы продать свою жизнь подороже. Но для того, чтобы броситься в борьбу, нужен подходящий момент, а его все не было. Бокий советовался с учеными, те предавались достаточно пространным рассуждениям, но всякий раз давали вполне толковые ответы. Блюмкин щурился на огонь, готовый к любым неожиданностям. Оставалось только ждать, что они с Игги и делали.

— Сколько пар сапог нужно, чтобы преодолеть известное расстояние? — между тем спросил товарищ Глеб.

— Металл, конечно, малоизученный, множественное содержания кремния, но при допуске «тридевять земель, тридевять морей» и все такое получается две пары на одно рыло, — ответил Добчинский.

— И один «хлеб», — добавил Бобчинский.

— Тогда нам понадобится еще четыре пары плюс на грудь плиту, — сказал Бокий.

— Сей же момент организуем, — ученые живо сорвались с места и уже булькали водой ламбушки.

Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять — три человека будут задействованы. Начальник отпадает. Научные сотрудники как-то даже не рассматриваются, в противном случае они бы и вели себя по-другому. Ну, а больше в экспедиции никого и нету.

— Правильно мыслишь, — одними губами усмехнулся Яков. — Ты первый пойдешь, монах — замыкающим. Все в одной связке. Только я церемониться не буду. Сюрпризов не потерплю.

Ученые принесли оговоренный инвентарь и опять безмятежно расселись возле костра.

— Боюсь, что металлические изделия с собой не пронести, — словно вспомнив, сказал Бобчинский.

— Что же получается: голым что ли на камень бросаться? — Блюмкин не пытался скрыть свое недовольство.

Никто не ответил, только сноп искр взвился в небо. С озера раздался приглушенный крик «душно мне», а потом кто-то в белесой накидке торопливо перебежал от одной группы сосен к другой.

Игги вздохнул, Бобчинский зевнул, а Бокий прикрыл свои

змеиные глаза. Неожиданно Добчинский затянул писклявым голосом:

«Говорят, что за эти годы синей птицы пропал и след.
Что в анналах родной природы этой твари в помине нет.
Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда.
Только я заявляю прямо: это полная ерунда».
Народ возле костра неохотно отозвался и вразнобой проблеял:
«Только мы заявляем прямо: это полная ерунда!»

Кто-то в белесой накидке также торопливо убежал от группы сосен к вершине горы Голгофа.

— Однако долгие проводы — лишние слезы, — сказал Бокий и достал свои карманные часы известной марки «Буре». — Уж полночь близится.

— А Германа все нет, — добавил Блюмкин.

Он встал на ноги и как-то по-собачьи встряхнулся. Потом достал из своей котомки какое-то тряпье и, тщательно разглаживая складки, переоделся. Тот же момент Яков исчез, а на его месте образовался какой-то загадочный дехканин, можно даже сказать, дервиш посреди карельской глуши.

— Алахакбар! — сказал он.

— Воистину акбар, — ответили хором заключенные и ученые.

Вполне удовлетворенный эффектом, дервиш протянул товарищу Глебу пистолет «Браунинг» и пару ножей.

— На хранение, так сказать, — произнес он. — Понадобится — добуду оружие в бою.

Тойво с Игги переглянулись: им на хранение сдавать было решительно нечего. Разве что, на чай — да и то вряд ли.

Добчинский достал какую-то рамку и поводил ею вдоль тела Блюмкина. Та даже не пискнула. После того, как Яков навернул на ноги по два «сапога» и зажал под мышкой «хлеб», снова помахал своей рамкой — никакого эффекта.

— Ну, как говорится, «с богом», — сказал Добчинский и ловко метнул научный инструмент через костер своему коллеге. Бобчинский его мастерски поймал и убрал в мешок.

— А нас? — удивился Антикайнен.

— Что — вас? — не понял Бокий.

— Ну, проверить?

— А что на вас искать? — фыркнул Добчинский. — Лагерных вшей?

Заключенные не стали отвечать и по примеру Блюмкина

вооружились «сапогами и хлебом». А удобный момент все никак не наступал. Вероятно, теперь уже и не наступит, черт побери.

Товарищ Глеб поочередно подошел к каждому из участников перехода и внимательно оглядел. В его глазах не было никаких эмоций — ни надежды на какой-то результат, ни сострадания, ни любопытства. Он, что называется, был полностью бесстрастен, справившись со своим минутным беспокойством, случившимся ранее.

Скорее, он пытался через свой взгляд прочитать чужие эмоции, понять чужие мысли. Также он смотрел когда-то давно, в прошлой жизни, при отвратительном шабаше сатанистов на берегу тихого финского озера.

— Первым пойдет монах, — неожиданно сказал Бокий. — Никаких веревок. Держать друг друга за пояс.

— Так двум человекам в той норе не уместиться, — напомнил Бобчинский.

— Тогда не держаться вовсе.

Блюмкин не стал возражать, только развел руками: хозяин — барин.

Северная июньская ночь замерла, достигнув пика своего безмолвного великолепия. Ничто не нарушало покоя и тишины. От костра шло тепло, сверху куполом рассыпались звезды, неяркие, но манящие. То, что не спало — ложилось почивать, прочее — еще не проснулось. Одинокий Усопший монах белесым пятном бесшумно скользил на самую вершину горы Голгофа. Ему тоже было покойно, если такое состояние доступно призракам. Этой ночью некого было пугать и доводить до предельного нервного состояния. Этой ночью можно было, наконец, умчаться из этого разрушаемого мира в другое бытие, либо в полное небытие — кто ж разберет, куда уходят несчастные приведения?

— Еще напутственное слово, последнее — на этот раз от нашей науки, — нарушил тишину негромкий голос Бокия.

Добчинский поднялся и деликатно прокашлялся в кулак.

— Дорогие товарищи! — сказал он. — Возможно мы больше никогда не увидимся, но не держите зла. У нас тут есть ряд рекомендаций, которые могут помочь вам не потеряться в неизведанных просторах мироздания. Выполнять их, или же нет — ваше дело. Дорогу, как говорится, осилит идущий. В добрый путь, товарищи!

И сел обратно на свое место.

— Э, что делать-то? — возмутился Блюмкин, когда молчание затянулась и переросло все допустимые Станиславским театральные паузы.

— Ах, да! — заерзал на месте ученый, но вставать не

решился. — Водочки бы сейчас, а, гражданин начальник!

— Потом выпьешь, — не очень по-доброму ответил Бокий. — Говори свои наработки. Сам знаешь, за каждым словом подписываешься — будет с кого спросить. Или кого наградить.

Добчинский на пару секунд нахмурился, а в это время Бобчинский как-то осторожно попытался от него отодвинуться.

— Прошлое, как камень: не отпустил — не поплывешь, - начал ученый. — Я это говорю к тому, что время — это та же река. Вам по ней придется плыть к другому берегу — отметим его, как «Рерих». Если время, как физическая координата, стремится к нулю, то скорость будет стремиться к бесконечности. На самом деле скорость будет зависеть от расстояния. Впрочем, неважно: суть в больших расстояниях и минимальнейшом времени. Как добиться управлением всего этого с научной точки зрения? Никак. Но наука — это материальность. Лженаука — это еще и духовность. Нам не важна теория, нам важен результат. Поэтому единственный способ добиться желаемого — это отринуть все ненужные мысли, зациклиться только на объекте. Если таковое удалось княжей особе сто лет назад, то почему не удастся и вам. Пусть «Рерих» будет мантрой.

— Но я не знаю такого человека, — сказал Игги.

— И я тебе отвечу, — вставил Бобчинский. — Получите фотографический снимок этого, не побоюсь слова, хорошего человека.

Он проворно вытащил из своей сумки пару фотографий и всунул их заключенным. Яков, понятное дело, в дополнительных сведениях о Рерихе не нуждался.

— Держите их перед глазами и больше ни о чем не думайте.

— Собственно говоря, это — все, — развел руками Добчинский. — Можете идти.

— Все, парни, пошли в хорошем темпе, — хлопнул в ладоши Бокий. — Верю в удачу. С богом!

— Господи спаси! — одновременно прошептали Игги и Тойво.

А Блюмкин ничего не сказал, кивнул своему начальнику и подтолкнул монаха к ходу в портал.

17. Переход

Собственно говоря, перехода, как такового, и не было. Разве что над горой разыгрались сполохи зарниц, словно отражения далекого пожара. Видно это было издалека, те жители архипелага, что по какой-то нужде не спали и пялились в это время на небо, боязливо крестились, чесались, а потом спокойно ложились обратно в постель.

Усопший монах даже мяукнуть не успел, сделал рукой, укрытой белесым саваном, непотребный жест, и только его и видели — лопнул, как мыльный пузырь, оставив после себя озоновую дыру. Вернее — дыру, состоящую из озона.

Все три путника тоже пропали без шума и пыли.

— Сработало, — сказал Добчинский. — Не пора ли нам по водочке, так сказать, ударить.

— Обещал, начальник! — поддержал коллегу Бобчинский.

— Эх, парни, вам только ханку жрать! — ответил Бокий. — А что с народом случилось, вас не интересует? Ну-ка, слазить в нору и убедиться, что она пуста.

Добчинский, как самый ближний к лазу, нехотя поднялся и залез внутрь. Тотчас же оттуда раздался душераздирающий вопль, от которого кровь, вполне вероятно, могла застыть в жилах. Усопший монах и его подельники-призраки просто отдыхали со своими охами-вздохами.

— Что это? — обеспокоился товарищ Глеб и опасливо достал свой револьвер.

Немедленно из дыры вылез Бобчинский, подполз на коленях к костру и откашлялся. Присев поудобнее, он принялся задумчиво лицезреть пляску огоньков на поленьях.

— Ну? — угрожающе поводя пистолетом, спросил Бокий.

— А! — встрепенулся ученый. — Все нормально. Никого нет. Камень на ощупь чуть теплее остальных. Пламя свечи в нем больше не рефлектует.

— А что же ты орал, как резаный?

— Так, пробовал силу своих голосовых связок, — пожал плечами Бобчинский. — Продышался, так сказать, всей мощью своих легких. А что?

Товарищ Глеб ничего не ответил, только вздохнул и махнул рукой: наливай, мол! Добчинский только того и ждал: жестом факира выудил из-под полы непочатую бутылку Смирновской водки, запечатанную сургучом.

— Как там спел монах, залезая внутрь? — спросил, воодушевляясь, Бобчинский.

«Нас не даром зовут пионэрами удивительной страны.

Это значит, ребята, мы первыми в каждом деле быть должны!»

Только спел ее не Игги, а Тойво, поддавшись на сиюминутную слабость.

Монах же перекрестился и сунулся в нору с самым решительным видом.

Ничего страшного он не ожидал. Все самое страшное могло ожидать его. Стоило лишь обратно загреметь в лагерь.

Игги верил в своих предков: их наследие, даже несколько превратно используемое, не должно быть во вред. Может, не совсем, конечно, на пользу, ну, да что теперь полезное? Вон, курево, говорят, пагубно для здоровья. Или алкоголь. Однако в тюрьмах от этого не помирают — там голод, холод и побои. Но про их тотальный вред принято не говорить.

Монах встал перед вещим камнем на колени, полюбовался пару секунд отражением в нем пламени свечи, а потом так же на коленях пошел вперед, не отводя взгляда от фотографии некоего Рериха. Большой, видать, человек, коли к нему за тридевять земель люди идут. У такого либо здоровья ищут, либо мудрости. Здесь, вероятно, имеет место мудрость и еще что-то такое, непознанное. Сексуальная потенция. Шутка. Монахам ничто человеческое не чуждо.

Игги шел на коленях, потом даже немного притомился. Не догадался свечку с собой прихватить — вокруг все также темно, как, понятное дело, где. Позвольте, но ведь горел же огонек перед камнем! Да потух, вероятно.

Он посидел немного на корточках, не больно-то привычно передвигаться таким вот способом. Вокруг — ни зги не видать. Да и нет у него той зги! Монах пошарил вокруг себя руками и ничего не нащупал — пусто, как, понятное дело, где. А, вообще-то, вовсе непонятно — где?

Игги прошел еще немного, протирая себе колени, а потом осторожно поднялся на ноги. Чего ползать, если можно гордо выпрямиться? Ну, чтобы было по-настоящему гордо, нужно еще заявить о себе во весь голос.

— Ку-ку! — сказал он негромко.

В ответ никто не прокукарекал.

— On-ko Petroskoi kaunis linnaine!

Это монах пропел уже во весь свой голос, прислушиваясь. Ответ пришел незамедлительно. Точнее, не ответ, а эхо. Эхо прилетело, слабенькое, но вполне различимое. Значит, есть и стена, которая отражает звук. Или что-то наподобие.

Игги выставил одну руку перед собой, а другую направил в

сторону. Сделал один нетвердый шаг, а потом другой — потверже. Можно сплясать. Где? В камне? Он глубоко вздохнул, словно боясь, вдруг, оказаться в толще твердой породы без всякого доступа живительного кислорода. Но ничего — жить можно.

Про то, что за ним по пятам должен следовать Блюмкин, он даже не вспоминал. Также из головы совсем вылетели некоторые детали его гардероба, как то — «сапоги железные» и «хлеб железный». Игги вспомнил обо всем этом несколько позже, когда увидел где-то впереди посреди тьмы ограниченные невидимой аркой мерцающие ярчайшие звезды, какие ему ни разу до этого не доводилось видеть.

Тут же он, вдруг, осознал, что «хлеб» спекся — исчез, как утренний туман, а от «сапогов» осталась лишь тончайшая паутина чуть пониже колен. Вот, оказывается, как износить железные сапоги и съесть железный хлеб! Неплохо.

По всему выходило, что ему удалось пройти через камень. То есть, сквозь застывшее в этом камне время. Не считая «спецодежды», ничего не убавилось и не прибавилось. Фотография Рериха так и осталась зажатой в ладони.

Темнеющая на фоне звезд арка — это всего лишь выход из пещеры, где подобный же портал находится. Однако тут возникала некоторая странность: Игги отправился, так сказать, в путь в полночь, что в тот же самый исторический момент времени здесь соответствовал утру. Тем не менее ни ярким солнышком, ни хотя бы рассветом здесь не пахнет. Пахнет свободой, куда бы ни забросил его портал.

На свободе оказалось достаточно свежо. Звезды, раскинувшиеся вокруг, и на их фоне ярко выделяющиеся зубцы гор. И ни одного прочего огня!

Игги решил, что отправляться в путь в такую темень — так лучше сразу же без лишней траты времени прыгнуть в расселину и забыться на ее дне вечным сном. До рассвета следовало сделать три вещи: первая — как-то отметить эту пещеру памятным знаком, вторая — перекусить, третья — не замерзнуть.

Метка возле заветного камня нужна была на всякий пожарный случай. Монаху, конечно, трудно было вообразить его, но легче оставить для себя след, нежели разом обрубить все связи с прошлым миром.

Он всерьез опасался, что оказался не в том месте и даже не в том времени. Луна, огромная и непривычная на вид, могла оказаться вовсе не Луной, как таковой, а, например, Землей. Месяц, несмотря на свои большие размеры, вовсе не освещал окрестности, просто висел в небе зловещим блином с хорошо

просматриваемым на нем рельефом.

И ни одной чертовой летучей мыши!

Так с пещерами не бывает. Да так и ночью не бывает. Кто-то обязан летать, пусть бесшумно, но неизбежно! Даже горы не должны быть абсолютно бесплодными. А иначе это пустошь, где встретить можно на свою беду лишь демонов и бесов.

Игги присел на ближайший к нему скальный выступ и про себя отметил: камень на ощупь не вполне ледяной, что внушает определенные надежды — не будет он отнимать тепло, будет, напротив, свое тепло отдавать. Это значит, что здесь не зима. А это значит, что есть возможность не околеть от холода. Стало быть, можно слегка помочь своему организму не растерять остатков тепла.

Одежда на монахе была еще та — оторви, да выбрось. Но вот под ней так и остались запасенные в побег сухари. Сухари — это пища. Пища — это калории. Калории при расщеплении дают тепло. Тепло — это жизнь.

Ветра не было абсолютно, поэтому Игги, сжавшись в комок возле выступа, отправил в рот пару сушеных кусочков хлеба. Действительно, стало лучше. Может быть, и не теплее, но пришла какая-то расслабленность всего организма. Так и надо, ведь ночь на дворе, а утро вечера завсегда мудренее.

> Hello, darkness my old friend.
> I» ve come to talk with you again.
> Because a vision softly creeping
> Left it» s seeds while I was sleeping.
> And the vision that was planted in my brain
> Still remains
> Withing the sound of silence.[1]

Звезды подмигивали монаху, и тот не боялся: пусть он умер, но рано или поздно это случается со всяким. Тело ему послушно, разум чист — такая смерть легка.

Смерть была тяжела у Яромира Хладика, которого расстреляли просто за вольные мысли. Ни он, ни полицейский чин до самого последнего момента не верили, что такое может произойти именно с ними: один — умереть, другой — убить. Яромир не мог допустить, что является врагом государства лишь только потому, что его подозревают в инакомыслии. Полицай не мог допустить, что приказ на казнь действительно оборвет жизнь скромного застенчивого учителя географии. Оба не верили. Неважно, что Господь позволил Хладику за тот миг от залпа до смерти прожить целый год. Факт свершился.

Игги вспомнились его товарищи по несчастью. Причем, о Тойво Антикайнене думалось легко, как о человеке, у которого все должно быть хорошо. А вот молодого Мику Макеева вспоминать было грустно. То ли оттого, что не было никакой возможности помочь простодушному и доброму парню, то ли оттого, что ничего нельзя изменить. Наступит черный день, когда личный палач Сталина генерал Блохин выстрелит в его лицо, навсегда потушив чистый взор и улыбку.

Ничего, как сказал поэт: «Все вернется, братцы, все вернется вновь, все должно в природе повториться: и слова, и песни, и любовь, и кровь — времени не будет удивиться». Если не воздастся нам за поступки наши, и им — за их преступления, то нет смысла в этом мире. Любой долг при жизни красен платежом после смерти. В это надо верить! С этим и надо жить!

Игги, словно познав какую-то истину, решился вернуться обратно к людям, но подумал, что поблизости нет никакой воды. А нет воды — нет места, где «сапоги и хлеб» дожидаются своей участи. Он опечалился и проснулся.

Разгорался рассвет. Вершины гор проступали сквозь стремительно отступающую тьму, и, вдруг, в небе оказалась различима точка, лениво нарезающая круги. У этой точки скоро оказались видны крылья, да и, вообще, она начало здорово смахивать на орла. Вряд ли подобные птицы водятся на Луне.

Игги протер глаза и снова сокрушился, что нет воды. Он не замерз, пока был в дреме, но это теперь его совсем не беспокоило. Беспокоило другое: что делать дальше?

Монах положил в рот несколько сухарей и, поднявшись, построил из валяющихся камней нечто подобное памятному знаку, хоть как-то отмечающему вход в пещеру с камнем-порталом. Ну, а дальше предстояло решать свою судьбу.

Древние говорили, что если неясно, что делать дальше — надо просто сделать первый шаг вперед. Игги, не торопясь и все время оглядываясь, двинулся вниз по склону, справедливо рассудив: воды на горе быть не может — она может быть у подножья.

Совсем скоро заветный памятный знак пропал из виду, а потом и сама скала сделалась точно такой же, как и прочие. Да и пес-то с этим! Теперь есть задача поважнее — выжить.

Сориентировавшись по солнцу, он старался держаться спуска с северного склона, ничем не мотивировав свое решение. Но это решение оказалось правильным — сначала стало слышно журчание, а потом показался и сам ключ, бивший из-под каменного выступа и тонкой струйкой текший далее вниз по намытому за годы руслу.

Вокруг стали бегать ящерицы, где-то, вероятно, притаились змеи, но делить с ними было нечего, поэтому Игги напился от души, посетовав, что нет с собой фляги в запас. Этим сожалением и было продиктовано решение идти вдоль ручейка — он должен куда-то впадать.

По мере спуска сделалось совершенно ясно, что былая пустота — это ошибочное наблюдение. Если бы никого не было, то большая куча экскрементов, на которую он набрел, не могла образоваться сама по себе. Специалистом в определении авторства эдакого непотребства монах не был, но предположил, что тварь была достаточно большой. Может быть, и сильной. Вполне вероятно, и свирепой. А у него с собой никакого оружия. Разве что камень.

Игги нагнулся, и тотчас же получил хлесткий удар по спине, словно бы кнутом. Резко выпрямившись от боли, он ощутил, как какая-то петля захлестнула его горло и начала давить, лишая возможности что-то сказать. Да что там сказать — и дышать-то сделалось невмоготу!

К такому ходу событий он был явно не готов. Попытался ухватиться пальцами за удавку, да где там! Неприятная ситуация до одури! В голове зашумело, перед глазами поплыли разноцветные круги, легкие готовы взорваться — хоть ложись и помирай!

Он так, было, и сделал: упал наземь и закатил глаза. Однако тут же хватка на шее чуть ослабла, и монах с хрипом втянул в себя живительный глоток воздуха. Вот, оказывается, какое счастье — просто дышать!

Вместе со вторым вздохом пришло понимание, что просто так сами по себе удавки не летают. Положим, с одной стороны веревки, которая и продолжает эту петлю, находится он сам. Значит, с другой стороны должен быть еще кто-то: невысокого роста, замотанный в стеганное одеяло с прорехами, с морщинистым коричневым лицом и маленькими узкими злобными глазами. Человек? Во всяком случае, на двух ногах.

А вот еще один — такой же, только в руках держит ружье с огромным дулом и витиеватым взводом курка. Этот, вдобавок, еще и говорит что-то. Правда, вычленить хоть одно слово из сплошного клекота не удавалось, но это, оказывается, и неважно. Третий человек более привычен к таким звукам, поэтому он с кривым ножом приближается к Игги и намерен сделать что-то нехорошее.

Монах, до сих пор лежащий на каменистой земле, оценил ситуацию мгновенно: если его не удавили сразу же, значит, есть две возможности. Первая — его возьмут в плен, типа, в рабство.

Вторая — его прикончат более изощренным способом, приурочив это дело к какому-нибудь ритуалу, либо жертвоприношению. Эти парни в одеялах на такое способны. И в пользу второго говорило предчувствие каторжанина со стажем.

Человек с ножом, приближаясь, смотрел не в лицо Игги, а почему-то на его ноги. Ну, в этом нет ничего секретного. Собирается подрезать сухожилия, чтобы пленник не имел возможности удрать — делов-то! Раньше, бывало, с такой же целью конский волос в пятки вгоняли. Азиаты не особо поменялись с той замечательной поры.

Монах, старательно выпучив глаза, продолжал изображать различные степени удушья, словно бы невзначай расставил ноги в разные стороны. Враг, не чувствуя подвоха, сделал шаг, оказавшись между ними. И тут Игги резко перевернулся со спины на живот, одновременно сгибая колени. Человек с ножом немедленно упал, потеряв равновесие, купившись на детскую подножку, и уронил свое оружие.

Его сотоварищ отреагировал достаточно быстро, дернув свой аркан, но теперь уже не он создавал ситуацию — он ей следовал.

Монах, набычившись, как бык — забавно было бы набычиться, как лошадь или слон — подхватил нож и полоснул им по натянутой веревке. Потом еще раз, и еще — тупой клинок оказался, как столовый прибор в ресторане на Елисейских полях. Однако все же аркан лопнул, и человек, его тянувший, забавно взмахнул ногами, упав на голову.

— Гу-га! — захрипел боевой клич Игги, одним движением сорвав с шеи петлю, другим движением кривого ножа перерезая шею до позвонков. Ошибочно было бы думать, что все это он проделал с одной и той же шеей. Вовсе нет — для того, чтобы принять удар клинка, имелся другой специально обученный человек — кривоногий узкоглазый демон, замотанный в рваное одеяло.

Тем временем человек с ружьем вскинул свой раструб к плечу и нажал на спуск. Выстрел получился оглушительный, да к тому же дымный и искрящийся. По степени разрушения его можно было сравнить с залпом из легкой противопехотной пушки.

Если бы Игги не перекатился за ближайший выступ скалы, он бы разделил участь большого булыжника, возле которого только что лежал — того разорвало в каменную крошку, которой удобно посыпать лед на дорожках зимнего сада, чтобы не поскользнуться.

Монах не стал дожидаться, когда пороховой дым развеется, а побежал гигантскими шагами к человеку с веревкой, который начал подыматься на ноги и теперь, находясь в полуприседи, прижимал руки к ушам, потрясенный неожиданным грохотом.

Игги очень метко пнул его правой ногой по уху, а потом добавил сверху-вниз левой, втаптывая его голову в мелкие камни на земле.

Стрелок лихорадочно возился со своим карамультуком, но у него плохо получалось. Оно и понятно: кремневые ружья не терпят суеты и спешки. В два прыжка монах очутился возле него и, подмигнув одним глазом, спросил:

— Ну, есть еще порох в пороховницах?

Тот в ответ что-то заклекотал, вероятно, сетуя на свое оружие, но Игги слушать не стал: сунул нож в грудь стрелка и отошел в сторону.

Все еще гуляло между скалами эхо выстрела, а в природе вновь восстановилось прежнее положение вещей: он и горы.

Вроде бы так. Да не так.

— Ловко ты этих басмачей разметал! — вдруг раздался с вершины ближайшего скального выступа голос, показавшийся знакомым.

18. Переход (продолжение)

Игги ухватился за бесполезное ружье и посмотрел вверх: на него, улыбаясь, глядел заросший бородой до самых глаз Блюмкин.

— Служил? — спросил он.

— Отдельный полк Олонецких егерей, — ответил Игги и зачем-то уточнил. — Галиция.

Яков спустился с выступа, ловко перепрыгивая с одной каменной площадки на другую, и, приблизившись, протянул руку.

— Это где ж тебя так долго носило? — спросил он.

— А какой сейчас месяц? — растерялся монах.

Блюмкин внимательно посмотрел на него и дернул щекой:

— Правильнее спросить: какой сейчас год?

Потом вздохнул и добавил:

— Пора рвать когти, как принято говорить в культурных домах. Валим — и чем быстрее, тем лучше.

Не дожидаясь вопроса, указал за каменистый гребень позади ручья. Игги выглянул и увидел приближающуюся толпу людей в таких же одеялах, опоясанных кушаками с подвешенными на них предметами, очень характерными по форме. Вероятно, это было ни что иное, как холодное оружие в самых разных его проявлениях: режущих, колющих и пилящих. Да и намерения у толпы казались явно не дружеские.

— С этих что-нибудь возьмем? — монах махнул рукой в сторону лежащих тел.

— Так нечего с них брать, — ответил Яков. — Однако мне нравится ход твоих мыслей. За мной!

Игги побежал следом за Блюмкиным, едва поспевая за его прытью.

Сначала они карабкались куда-то вверх, затем обогнули огромный валун и оказались перед большой норой в земле. Яков потоптался перед этой дырой, с силой стуча каблуками по мелким камушкам и грязи. Потом отпрыгнул в сторону, и они вновь побежали, только теперь вниз, пока не оказались возле того самого ручья ниже по течению.

Игги догадался, что таким образом Блюмкин путал следы и сбивал погоню.

— Подожди меня здесь, — чуть отдышавшись, сказал Яков. — Надо полностью обезопаситься, чтобы никакая собака за нами не увязалась. Я быстро.

С этими словами он как-то ссутулился и ушел вверх по ручью. Монах не решился задавать вопросы, однако заполз на

каменистый гребень, показавшийся ему смутно знакомым. Все правильно — они почти вернулись на то место, где не так давно случилась хорошая драка. Не все же драки плохие!

Возле мертвецов стояло два человека и курило бамбук. Вообще-то неизвестно, что они там курили, и курили ли вообще, но эти двое явно были охраной, пока прочая орда бегала в погоне. К ним как раз и шел, нисколько не скрываясь, Яков. Причем, он не только приближался к басмачам, но еще чего-то им говорил, размахивая руками.

Те тоже начали отчаянно жестикулировать, а потом они расстались: Блюмкин по широкой дуге вернулся к месту, где его ожидал товарищ, а один из двоих охранников со всех ног побежал за своей бандой.

— Все, — сказал Яков. — Будут теперь призраков ловить. Или бежать от призраков. Полагаю, второй вариант более вероятен.

Оказывается, самые крепкие парни из горного селения, элита, можно сказать, отправилась к соседям решать какие-то свои внутренние проблемы, возникшие в силу непреодолимых обстоятельств. Они не собирались никого убивать, во всяком случае, не всех. Но тут трое дозорных, шедших во избежание засады впереди, поумирали загадочными смертями. Один, самый храбрый, успел пульнуть из оружия предков — и все. Вот все прочие и побежали искать, кто к этому причастен. Подозрения, конечно, на соседей. Только они могут так подло напасть.

— А я им сказал, что видел демона, который в страшной спешке провалился сквозь землю, но обещал вернуться.

Демоны для местного населения — не простой звук. Их надо задабривать, их нельзя раздражать. Тогда они могут быть благорасположенными к деревне, даже защищать ее и особо не вредничать. Но какие бы они ни были добрые, все равно остаются демонами. А кроме них другой потусторонней силы в Тибете нет.

— Где? — удивился Игги.

— В Караганде, — усмехнулся Блюмкин. — А ты думал, куда мы собирались? Это и есть настоящий Тибет. Это и есть наш путь.

Они пошли дальше, более не встречаясь со своими преследователями, обходя возможные человеческие поселения, питаясь в придорожных кафе и ларьках с фаст-фудом.

Если бы все обстояло именно так!

Тибет — это дикое место, куда цивилизация проникает крайне неохотно.

Яков, дав согласие на участие в экспедиции Рериха, отнесся к ней со всей серьезностью. Зная фарси в достаточно свободной форме, он вознамерился овладеть и местным диалектом. С этой целью он изыскал отчеты Пржевальского и Маннергейма об их

азиатских турне и по ним нашел фамилии специалистов, побывавших в Тибете. ЧК со скрипом, но вполне достоверно определил оставшихся в живых участников, с ними удалось пообщаться, получить консультации и выйти на специалиста по языку. Консультанты остались в бодром здравии после этого общения, а специалист оказался настоящим кладезем лингвистики. Ну, а дотошный и упорный Блюмкин научился говорить всякие глупости без всякого акцента на языке Лхасы. Набор обиходных фраз и досужих умозаключений был до неприличия невелик. Впрочем, именно ими и пользовались ламы, чтобы изрекать великие мудрости. «Мысль изреченная — есть ложь».

Но не все так просто сложилось с этой экспедицией. Рерих был мутным парнем, если понимать это широко — в государственном масштабе. Его находки, открытия и гипотезы принадлежали только ему, и делиться с официальными кругами России, Швеции либо США он не намеревался. Увлечь его можно было только нематериальным, духовным сюжетом. Замечательный мыслитель и исследователь парапсихологии 19 — 20 века Блаватская, не чуравшаяся общения со спецслужбами, пыталась занять художника оккультизмом, пригласив на несколько спиритических сеансов. Ей тоже было ужасно любопытно вызвать на частичную откровенность самого Рериха, но тот после нескольких сеансов общения с медиумами и спиритами забил на все эти фокусы-покусы.

Но идею художника посетить Тибет кто-то подхватил. Вероятно с подачи жены, Лены Ивановны. Денег у Рериха было достаточно, а вот иные возможности начали предлагать душные американцы, чопорные англичане, подлые шведы, ну, и, конечно, вездесущие русские, точнее — евреи из различных ведомств. К ним, как бывшим соотечественникам — в смысле, некогда подданным Российской империи — он и обратился с просьбой о сотрудничестве.

За всеми этими ведомствами стояли люди Бокия, и он уже строил планы, насколько полно может художник знать все цели и задачи экспедиции, как тут вмешалось нечто, спутавшее все его ожидания. Имя у «нечто» было собственное — Меер Трилиссер, начальник иностранного отдела ОГПУ.

Тот недолюбливал спецотдел и его руководителя Бокия, в частности. Жаба его давила: каким образом им выделяются непомерные средства, в то время, как результата освоения этих средств не видно?

Трилиссер на полусогнутых помчался к Дзержинскому и горячо зашептал тому на ушко:

— Товарищ Феликс, зачем тебе в экспедиции Рериха сдался этот нехороший человек, этот товарищ Глеб? Разве нельзя без него обойтись?

И, не дожидаясь ответа, сам ответил, но уже в другое ушко:

— Мы лучше, у нас — профессионалы. А, главное, наши люди безмерно преданы делу революции, партии и правительства и лично товарища Ленину.

Уши у Дзержинского были немного волосатыми, и он недолюбливал, когда кто-то мог это заметить. Он гневно отстранился и вцепился рукой в свою козлиную бороду, что предвещало не самый лестный ответ.

— Двадцать процентов, — невинно моргнув, сказал Меер.

— Кхм, — ответил, словно бы, поперхнувшись, Железный Феликс.

— Тогда осмелюсь предложить больше, — добавил начальник иностранного отдела. — Двадцать процентов.

— Позвольте, — возмутился Дзержинский. — Больше двадцати — не может быть теми же самыми двадцатью.

— Может, — доверительно сказал Меер. — У нас все может.

И снова что-то горячо зашептал в подставленное мохнатое ушко, но товарищ Феликс его уже не одергивал и бороду свою козлиную не теребил.

Результатом этой беседы послужило то, что в экспедицию Рериха должны быть внедрены люди Трилиссера. Бокий, конечно, расстроился, но не очень. Теперь с него все взятки гладки: полная свобода действий и никакой ответственности. Откат товарищу Дзержинскому — тоже не его проблема.

Ехать инкогнито со всеми ответственными товарищами — так шпиона за столько дней непременно вычислят. Поэтому Бокию надо было найти другой вариант. И лучшего кандидата, нежели Блюмкин — найти невозможно. Но до определенного момента тот отказывался, а запугивать или взывать к партийной совести в отношении Якова бессмысленно.

Однако тут вмешался всезнающий Куратор.

— У тебя будет прекрасная возможность соприкоснуться с Историей этого мира, — сказал он.

— А тебе что с того? — поинтересовался Яков.

— Да любопытно просто. А тебе — нет?

Вообще-то, с определенного момента в жизни Блюмкина материальные блага перестали быть основными и определяющими побуждениями. Тайны мира интересовали его, но не так, чтобы это было навязчивой идеей.

— Мне хочется узнать: поменяется ли что-нибудь, когда ты поделишься своими открытиями с людьми? — добавил Куратор и

хищно осклабился.

Якову сделалось не по себе, и он про себя решил: «Нафик-нафик, — кричат индейцы. Никуда я не поеду!»

На следующий день он дал Бокию «добро» на свою миссию. И тогда же начал подготовку.

Трилиссер самолично съездил к Рериху и милостивым указом назначил того руководителем экспедиции в Лхасу, посмеиваясь в кулак. Он чувствовал себя самым хитрым и хотел использовать художника «в темную». Тот, конечно, согласился с самым важным видом, и через несколько дней пропал, будто его и не было в помине.

Всей подготовкой пришлось заняться Лене Ивановне, а огэпэушные филеры с ног сбились в поисках ее мужа — черта с два! Канул в Шамбалу. Тогда, чтобы не терять лицо перед мировой буржуазией, снарядили поезд, отходящий с Казанского вокзала, в который поместили бородатого дядьку. Тот махал своим чепчиком случайным прохожим, неслучайным провожающим и представителям враждебных иностранных газет.

— Хто же ето? — спрашивали случайные. — Лев Толстой?

— Тундра! — отвечали неслучайные. — Сам Николай Рерих в Тибет отъезжают.

— Йа, йа, штангенциркуль, — кивали головами буржуи.

Вот такова была предыстория. Частично Блюмкин поведал ее Игги, чем нимало его удивил. Он сокрушался и радовался в одно и то же время. Хорошо, что не на Соловках, хреново, что у черта на рогах — в Тибете.

Яков загадочным образом вышел из портала несколько раньше монаха. Да и несколько дальше от него. Эта разница составляла добрых полгода и полторы тысячи километров. Он порядочно поистрепался, одичал, нахватался по пути всяких местных штучек и сделался похожим на самого натурального тибетского ламу, странствующего по своим ламским делам.

Блюмкин с удовольствием отобедал последним запасом соловецких сухарей, запивая родниковой водицей, и сказал:

— Эх, домашняя пища!

«Твой дом — тюрьма!» — хотелось прокомментировать Игги, но он, понятное дело, промолчал.

Им предстоял еще далекий путь, чтобы оказаться на хвосте у каравана Советских исследователей, в котором неожиданно объявился истинный Рерих собственной персоной. Подложный сбежал на каком-то полустанке в Средней Азии, очень здорово перед этим сокрушаясь о несоответствии предложенного заработка предстоящей работе.

Он, якобы, пошел посмотреть на верблюдов — и потерялся. В

штабе предположили, что спрятался в одной из навозных куч пока поезд не уйдет. Народу в экспедиции не хватило, чтобы переворошить в окрестностях весь верблюжий помет. Так и уехали без «Льва Толстого». Ну, а тот, как говорится, остался «в шоколаде».

Перед самой Лхасой Блюмкин с товарищем догнал экспедицию. В ней, как водится, был полнейший разброд и шатание. Безмерно преданные делу революции, партии и лично Вове Ленину люди Трилиссера перелаялись между собой, не в силах решить, когда же кончается их рабоче-крестьянский энтузиазм и начинается борьба за выживание. Кто-то хотел объявить Рериха сумасшедшим нигилистом, кто-то не хотел возвращаться домой с вошью на аркане, кто-то выразил сомнение в учении Маркса-Энгельса.

Местное крестьянство на сто процентов состояло из неподатливых и лживых идиотов, зажиточное меньшинство — из податливых, но не менее лживых кретинов. И только Рерих никак на это не реагировал: самовольно отлучался от экспедиции и через переводчика задавал и тем, и другим безумные вопросы. А то и взбирался на отдельные скальные образования и там, складывая ладони в перспективу, что-то наблюдал, делая потом карандашные наброски в свой походный дневник. Похоже, его в экспедиции устраивало все.

Блюмкин это дело разузнал, а потом, воспользовавшись, ночной темнотой, удавил двух человек — переводчика и усомнившегося огэпэушного соглядатая. Первого, отправившегося в соседний кишлак, он «отработал» сам, а второго, отошедшего по большой нужде оформил Игги.

— Зачем тебе этот хмырь понадобился? — удивился монах, когда они решали кто кого. — Задавить подлого мента — не западло, но почему именно этого?

— Этот самый умный, он не так сильно оболванен пропагандой, поэтому может обратить внимание на то, чем другие пренебрегут.

Следует отметить, что к этому времени между террористом и каторжанином возникло некое подобие дружбы. Во всяком случае, оба прониклись уважением друг к другу. А это уже немаловажно.

Не успели еще высохнуть слезы по убиенным, то есть, сразу после предания одного тела земле и сдачи другого местным безразличным китайцам, Блюмкин предстал перед Рерихом и немедленно занял вакантное место. Игги также был принят в группу — вроде бы носильщиком. Но на самом деле художник очень заинтересовался загадочным паломником в Тибет,

чувствуя, видимо, большую внутреннюю силу монаха.

— Смотри, не расколись насчет Соловков, — напутствовал товарища Яков. — Говори всю прочую правду, только об этом деле умолчи.

— Яволь, — согласился монах.

Никто из людей Трилиссера не смог опознать в бродячем послушнике самого Блюмкина настолько органично тот вжился в свою роль.

С далай-ламой Рерих встречался один, других просто не допустили. Зато все желающие могли сходить на беседу с местным тибетским святым прорицателем, который был ужас, каким святым. Даже летал над полом от своей святости.

— Не, я к этому дядьке не пойду, — сказал Игги. — Что это за имя у него такое — «Баба»? Баба с возу — кобыле легче.

— Да и я отчего-то не очень доверяю таким сказочникам, — согласился Блюмкин. — Баба — наверняка хитрый, мозги запудрит, наговорит намеков, как сфинкс, да еще и денег выманит.

Ну, тот прорицатель и изрек: великая цель у экспедиции, все обратно не вернутся, два врага имеются внутри, которых следует остерегаться. Все в общих чертах.

Огэпэушники подумали про себя, Яков тоже подумал про них. А что подумал Рерих — одному Господу известно.

И ведь дошли они до самой святыни! Что это такое — Шамбала, или, как говорили древние ливы, «Сампо» — узнали только два человека. Лишь три участника экспедиции смогли оказаться вблизи этого места, той загадочной части Земли, где пространство и время перестает подчиняться Законам, где силой становится мысль, а воля — разумом.

Прочим людям оказалось невмоготу. Прочие люди не были допущены. Может быть, в прочих людях, осталось от людей меньше, чем того требуется?

Николай Рерих не решился сделать последних шагов: он встал на колени и плакал, как умеют это делать лишь те мужчины, которые всю жизнь верят, и потом, спустя годы, узнают, что их Вера не беспочвенна. Или, быть может, он вышел на тот уровень, который доступен ему, чтобы не потерять связь с человечеством, которое ныне корчится в пустом поклонении ложным ценностям жизни? Жизни, дарованной всем нам Господом.

Он художник, он все сумел отразить на своих холстах. К его работам и можно обращаться за ответом.

А Игги и Яков не были настолько чувствительны, они прошли дальше.

— Знаешь, друг, — сказал монах. — Мое место здесь. И твое — тоже.

Блюмкин кивнул головой. Как определить, где твое место? Там, где тебе хорошо? Или там, где полезен? Или вовсе нет такого места, а есть вечный поиск?

— Место человека там, где он в состоянии выжить, — ответил Яков. — Я все-таки уйду, брат. Однако меня не перестает мучить одна дилемма.

Монах не был удивлен решению своего товарища — у них всегда по жизни были разные пути. Ни разочарования, ни беспокойства по этому поводу он не чувствовал.

— Что за дилемма?

— Куда подевался наш общий знакомец красный финн?

Вопрос был, конечно, риторический. Ни один, ни другой не знали на него ответа.

Блюмкин сопроводил Рериха до лагеря экспедиции, где они резво собрались и помчались в сторону Советской России. Яков с ними не поехал, предпочитая совершенно другой маршрут.

По возвращению ни Трилиссеру, ни его людям, ни самому Рериху от руководства ничего не перепало: ни денег, ни званий, ни почестей. Сведения, предоставленные ими, были признаны малозначимыми. Художник, вообще, внятно что-то объяснять не мог. Ну, а на эскизы его никто внимания не обращал.

Зато Барченко, Бокия и самого Блюмкина после предоставления проработанного и исчерпывающего доклада не обделили высокими правительственными наградами. Этот доклад немедленно засекретили, поставили штамп и спрятали в несгораемый сейф, где он лежит до сих пор.

Все бы ничего, да много кое-чего.

Товарищ Глеб был не такой человек, который мог позволить, чтобы кто-то другой соприкоснулся с другой действительностью. Или он вовсе не был человек?

А вот Трилиссер как раз был человеком со всеми вытекающими из этого последствиями. Люто возненавидел он Бокия, а еще пуще — Блюмкина. Униженным себя считал и оскорбленным.

— Отдай мне гада, — сказал он товарищу Глебу.

— Не отдам! — ответил тот.

Но прошло некоторое время — и отдал. Поменялся Яков после визита к Сампо. Вроде бы такой же остался — циничный и дерзкий, но накатит на него задумчивость — посмотрит на небо, улыбнется и дальше идет, как ни в чем не бывало. Опасен он сделался Бокию, потому что не вполне понятен.

Брали Блюмкина возле дома «ОКОН РОСТА», откуда он

вышел — зачастил что-то к Маяковскому. Подъехал, взвизгнув пневматическими тормозами, «черный ворон», из него вывалились три человека с наганами наперевес — двое с правой стороны автомобиля, один с левой. Водитель остался на месте.

В него и выстрелил, без раздумий, Яков, ударил ближайшего нападающего ногой в голову, прикрылся им, как щитом, и всадил две пули в другого опешившего энкавэдэшника. Тот с расстройства тоже выстрелил и убил наповал своего коллегу.

Блюмкин щучкой прыгнул в раскрытую дверь, выбив мертвого шофера на мостовую, и дал по газам. Дернув рулем, успел еще поддеть на капот последнего из команды захвата и помчался по московским улицам.

Да стянуты были на эти улицы усиленные патрули чекистов — все-таки не простого смертного брали, а убийцу немца Мирбаха! И начали они палить в белый свет, как в копеечку. А Блюмкин — ну, отстреливаться на ходу, пока патронов было!

Прорвался он, уехал, свернул в Марьину Рощу, но что-то машина перестала ехать. Рычит, а сама, того и гляди, остановится. Выбрался Яков из-за руля и тоже, оказывается, не в состоянии бежать, куда глаза глядят. Подстрелили, демоны, и «черный ворон», и «сокола» в нем.

Так его и нашли по кровавому следу. Привези на Лубянку, обозвали «шпионом» тибетским, поставили к стенке, и сам Трилиссер к нему вышел.

Стоит Яков, на доски опирается, которые ему взамен костылей дали, и улыбается загадочной улыбкой. Хотел Меер ему что-то сказать, да отчего-то передумал. Плюнул себе под ноги, развернулся и пошел прочь, махнув рукой расстрельной команде.

Над землей бушуют травы,
Облака плывут кудрявы.
И одно — вон, то, что справа.
Это я.
Это я, и нам не надо славы.
Мне и тем, плывущим рядом.
Нам бы жить — и вся награда.
Но нельзя.

«И куда это красный финн подевался?» — не к месту подумалось Блюмкину. Он посмотрел сквозь серый цементный потолок на небо, улыбнулся и сказал:

— По Революции — пли!

19. Война мертвых

Тойво, вообще-то, деваться было некуда. Он сунулся следом за Блюмкиным, вцепившись зубами в железный «хлеб» и подумал про Рериха. Но отчего-то про него думать совсем не хотелось и даже не моглось.

Ему казалось, что спускается в мрачное царство Аида, чтобы забрать оттуда свою Эвридику. Или, на худой конец, остаться там вместе с ней. «Как же одиноко без тебя в этом мире, моя Лотта!»

Антикайнен оказался в полной темноте и, судя по всему, куда-то переместился. «Хлеб и сапоги» осыпались, сверху раздавался негромкий шум, будто кто-то двигал мебель, и больше ничего особого. Пахло пылью и мышами.

Он пошарил вокруг себя руками и нащупал чью-то протянутую руку, которую тут же с чувством пожал. Рука не стала пожимать в ответ. Да и была она какая-то холодная и очень гладкая. «Будто манекен», — подумалось ему. Тойво потянул ее на себя, и она охотно потянулась. Рука и торс. Даже без головы. Действительно, манекен.

А бывает такое в Тибете?

— Сука, еще брыкается! — раздался сверху возмущенный голос. — Ну, да на суде успокоится!

Тотчас же что-то, словно мешок картошки, упало сверху и загремело сдвигаемой в разные стороны мебелью.

Это не Тибет.

Там по-русски не говорят. А если говорят, то не так. Такая интонация типична для вертухаев. Неужели опять тюрьма?

Его глаза постепенно привыкли к темноте и стали видны очень смутные контуры, вероятнее всего подвала — хлам по углам, лестница посреди помещения. Тойво взял предложенную часть манекена под мышку и пошел к ней.

Он начал подниматься по ступенькам, гадая, закрыт вход в подвал замком или щеколдой, или нет? За ним пошли наверх сразу две темные фигуры. Антикайнена это не удивило.

Его удивило то, что комната над подвалом напоминала ленинский уголок в родной казарме в Питере. Или даже актовый зал: неровные ряды скрепленных между собой кресел.

Категорично, это не Тибет.

Тойво осмотрелся: под креслами лежал человек в местами изодранной форме мышиного цвета. Те двое, что вышли за ним, не спешили драться, в удивлении поворачивая головы вправо-влево.

Не прошло и пары минут, как заколебалась, то исчезая из

виду, то появляясь снова, задвинутая в дальний угол трибуна. Когда это странное оптическое явление угасло, рядом с этим подиумом для оратора образовался еще один человек — коренастый и могучий, как дуб. Судя по его взгляду, он не вполне ожидал такого своего появления неизвестно где.

Немая пауза была прервана шумом сдвигаемой мебели — это зашевелилась фигура под креслами и, между делом, произнесла вполне мужским голосом:

— Шайтан!

— Рагнарек, — ответил высокий и статный весьма пожилой человек, бородатый и волосатый — тот, что тоже выбрался из подвала.

— Валгалла, — вторил ему молодой плечистый спутник.

— Архипелаг ГУЛАГ, — заметил Антикайнен первое, что пришло в голову.

Силач в секундном замешательстве открыл рот, но нашелся и добавил:

— Армагеддон.

Пока парень вылезал из-под кресел, Тойво пытался догадаться, что, собственно говоря, происходит, но не смог.

Но это уже совсем другая история. И о ней можно прочитать в моей книге, неправдивого и нематериального характера, под названием «Война мертвых».

20. Здравствуй, Родина

Тойво сидел под огромной старой липой, что растет возле крепости Саво, которая в Савонлинне. Спиной упирался в ствол, ноги согнуты в коленях, глаза прищурены. Тепло, безветренно и тихо.

То ли дерево способствовало полной расслабленности и отрешенности, то ли просто не было сил, чтобы встать и идти. Да и куда?

Он вышел из огромного колодца, что был внутри самого замка. Это место снискало себе не самую хорошую репутацию за века, что стояла сама крепость. Даже больше — слава колодца была зловещей. Призраки, леденящие сердце звуки и, конечно, вред для здоровья — все эти слухи передавалась из уст в уста между сторожами и прислугой. Кто был слаб и малохолен — хватались за сердце, кто был крепок телом — психика расшатывалась. В общем, колодец, да, к тому же, сухой и безводный — не то место, где можно было проводить романтические свидания.

Антикайнен пробрался через паутину малозаметного подземного хода, единственным путеводителем считая призрачный свет, указывающий на выход, по камням выбрался из самого колодца и, не видя другой альтернативы, решил эту крепость покинуть. В самом деле, не заявляться же властям! Властям и без него хватало забот.

Открыв скрипучую дверь, он вышел под тускнеющие звезды, пристально посмотрел в совершенно белые глаза ночного сторожа и не стал тому ничего говорить. И так, поди, натерпелся страхов за свое дежурство!

Вот таким образом он и оказался утром возле примечательной липы, присел на минуточку и сидел так уже несколько часов.

На поляну, что была возле берега озера, пришла семья с корзинами. У них, вероятно, был пикник. Значит, день сегодня выходной. А по тому, что отсутствует снег можно заключить, что это лето. Листья на липе еще совсем молодые — значит, лето в самом начале.

Там, где он был еще вчера — время совсем другое. Да и не время вовсе, а ералаш полнейший. Он ушел в портал на Белом море в июне 1922 года. Ну, а вышел в Савонлинна — пес его знает когда? Время настолько относительно!

Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.

Время — великий учитель, но, к сожалению, оно убивает всех

своих учеников.

Тойво пока выжил. Пока он жив. И надо бы жить дальше. Если не знаешь, что делать дальше — следует сделать просто первый шаг. Вот посидеть еще чуточку возле дерева — и идти.

— Привет, — сказала девочка.

Она прибежала к липе, удалившись от своего семейства. Синеглазая, светловолосая с щербатым ртом и веснушками — добрая, как и все девочки ее возраста.

— Привет, — ответил Тойво.

— А ты почему сидишь? — спросила девочка.

— Отдыхаю, — пожал плечами Антикайнен.

— А как тебя зовут?

— А тебя?

Девочка поправила на себе платье, проверила, не съехала ли набок маленькая косынка и только после этого проговорила:

— Лотта.

Тойво не вздрогнул. Грусть не может усиливаться: или она есть, или же ее нет. Антикайнен, даже смеясь, не мог от нее избавиться. Он свыкся со своей кручиной и просто жил, не пытаясь забыться.

— Тойво, — представился Тойво. — А тебе не пора к твоим родным?

— Ага, — согласилась девочка и повернулась, чтобы бежать.

— Погоди, — поспешил сказать Антикайнен. — Какой сейчас год, знаешь?

— Знаю, — кивнула Лотта. — Високосный.

И убежала.

Ну, вот, стало быть, как обстоит дело. Двадцатый уже прошел. Значит, какие-то последующие. Не вернулся же он в прошлое, в самом-то деле!

Подумав так, он почему-то вспомнил лже-барона Мику, монаха Игги, даже противного вертухая Прокопьева вспомнил. Странно, что было до Соловков, ему вспоминать не хотелось, да и не моглось, в общем-то.

Когда Тойво открыл глаза — оказывается, он их закрыл почему-то — к нему подходили Лотта с высоким мужчиной. Девочка держала оловянную кружку, а, по-видимому, ее отец — солдатский термос. Радушие мужчина не выражал, впрочем, какую-то враждебность — тоже.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — ответил Тойво.

— Ну, вот, я же тебе говорила, что он не страшный и очень печальный, — добавила девочка.

— Как жизнь? — спросил мужчина.

Антикайнен вместо ответа пожал плечами: пес его знает, какая у него жизнь?

— Досталось?

— Ну, да, подранили слегка, — не хотелось говорить правду, а среди неправд эта была безопаснее всего. — Долго лечился.

— Странно, — заметил мужчина. — А больничкой совсем не пахнешь.

— Разные они бывают — больнички-то, — опять пожал плечами Тойво. — Это был реабилитационный центр.

— И когда это случилось?

— В сентябре двадцать третьего, — совершенно нейтрально ответил он.

— Ого, — удивился мужчина. — Почти пять лет назад!

Стало быть, на дворе у нас одна тысяча девятьсот двадцать восьмой год. Шесть лет минус. Или шесть лет плюс?

— Да нет, — объяснил Тойво. — Двадцать третьего сентября прошлого года, то есть, тысяча девятьсот двадцать седьмого.

— А, — согласился мужчина. — И как теперь?

— А теперь ему надо попить глегги, - деловым тоном сказала Лотта.

Потом Антикайнен пил горячее сладкое питие, и это было восхитительно. Девочка, заметив, как он смакует каждый глоток, радостно смеялась. Ее отец тоже заулыбался.

— Неужели так отвык от этого? — кивнув на кружку в руках Тойво, спросил он.

— Не то слово, — согласился Антикайнен. — Лучший напиток за последние годы. Спасибо, маленькая леди!

Лотта даже покраснела — до того ей понравилась похвала, и она, преобразившись в хозяйку, все пыталась подлить почти незнакомому человеку домашний глегги.

— Ой, спасибо, — улыбнулся Тойво. — Я у вас так весь термос вылакаю. А мне же еще идти надо.

— Далеко идти-то? — спросил мужчина.

— В Онкамо Сяскениеми, — сразу ответил Антикайнен.

Они еще немного поговорили о совсем несущественных вещах, и отец с дочкой, оба довольные выполненной миссией, пошли к своему пикнику.

Тойво, вздохнув, нехотя поднялся на ноги. В Онкамо жил Юрье Лейно — с ним он знаком не был, но его имя отчего-то первое пришло на ум.

Про этого коммуниста с дореволюционным стажем ему как-то рассказывал друг Отто Куусинен. Его дочь, Герта, в 1920 году приехавшая к отцу в Советскую Россию, тайно вздыхала на велеречивого, важного и импозантного революционера. А Отто

его чертовски недолюбливал.

— Хлыщ какой-то, — говорил он. — Скользкий, как угорь. Все знает, везде бывал. «С мамкой сплю, да в папкиных трусах».

— Друг пламенного революционера Саши Степанова? — спросил тогда Тойво.

— Не знаю, — пожал плечами Куусинен. — Но повадки одинаковые.

А уходить из-под гостеприимной липы все-таки надо. Не ровен час особо бдительный гражданин вызовет полицию — не все же в Финляндии способны глегги угощать. Ну, а полиция — это, брат, полиция.

«It» s a fact of life, You know!

What» s that?

Corrupt cops.»[2]

К незнакомому Лейно, на самом деле, Тойво идти не собирался. Он ничего не знает о нынешних реалиях, документов нет никаких, денег — и подавно. Надо куда-нибудь на работу подаваться, где особых вопросов не задают: землю копать, лес валить, камни таскать. В батраки, то есть. Или, как это называется в Карелии — «в казаки».

Сориентировавшись по дорогам, он выбрал ту, которая ведет в Пухос. От столиц и крупных городов следует пока держаться подальше.

Тойво на прощанье помахал рукой радушной семье, они ответили тем же, даже незнакомая с ним мама девочки. Раз первыми встретились хорошие люди, то дальше все должно быть хорошо. Про испуганного сторожа в замке он даже не вспомнил. Зато вспомнил про удачу.

> Синей птицы не стало меньше, просто в цвете последних дней
> Слишком много мужчин и женщин стали сдуру гонять за ней.
> И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти.
> И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути.

Не прошло и получаса, как чертовски захотелось поесть чего-нибудь человеческого. Не в смысле каннибализма, а то, что едят другие нормальные люди: рябчиков в брусничном соусе, слабосоленую семужку с молодым луком и петрушкой, или мраморную говядину под красным вином. Ну, пара сухарей тоже бы сгодилась.

Когда-то во времена учебы в Каяни объясняли, как питаться подножным кормом. Грибы, ягоды, корнеплоды — это хорошо. Но не сезон. Так что же жрать-то?

Мимо проехала телега, в которой сидел мужчина в котелке и еще один — без котелка, зато лениво поедающий пирог с неизвестным содержимым. Тот, что безобразным образом жрал, еще и правил лошадью. Она, проходя мимо Антикайнена, подмигнула ему карим глазом, а потом дернулась в сторону, как от черта.

Пирог немедленно обломился пополам и обе части упали на обочину прямо под ноги Тойво. Возница чертыхнулся, а мужик в шляпе интеллигентно икнул.

«Спасибо тебе, Господи!» — подумал Антикайнен, немедленно подобрал еду и, кое-как поспешно сдув налипший сор, сунул в рот один из кусков. Ого! Пирог с мясом и капустой! Просто праздник какой-то!

— Во дает! — сказал возница, остановив лошадь.

— Хороший пирог! — Тойво захотелось выразить некое поощрение. — Я бы еще съел.

— Ух, ты! — на этот раз в тоне мужчины чувствовалось возмущение и даже негодование. Того гляди, за кнут возьмется. Конечно, предпочтительнее, было бы — за пряник. Но тут уж, как говорится, по настроению.

— А что — жалко?

— Вы, собственно говоря, по какому делу? — вдруг, по-столичному растягивая слова, спросил котелок.

Тойво присмотрелся: да он же бухой по самые уши!

— Любезный, а что: сухой закон уже отменили? — спросил он у возницы.

— Ну, ты загнул! — искренне удивился тот. Настолько искренне, что красный финн даже испытал к нему некую симпатию.

— А «воробышком» у вас не разжиться? — прищурившись, спросил он и сунул в рот оставшийся кусок пирога.

— Так, это, мы тут мимо едем, — растерялся человек с поводьями.

Антикайнен вздохнул с облегчением: с этими парнями можно сварить кашу. Кто-то из них явно промышлял нелегальным спиртным. Может, конечно, полицейская подстава, но вряд ли.

Обычно понтикку гонят в лесах, причем, преимущественно, для домашних нужд. Контрабандисты поставляют спирт по каналам из-за границы. А кто-то их развозит по «точкам».

Спекулянты продают контрабандный спирт или в 12-литровых канистрах, или в сосудах емкостью в четверть литра,

которые народ называет любовно «воробышками». Говорят, что в любом хельсинкском ресторане можно заказать крепленый спиртом чай — надо лишь знать правильные термины.

«Чего желаете?» — спрашивало доверенное лицо бутлегера.

«Чай покрепче и обжигающий».

«Будет исполнено».

Или на точке, где торгуют из-под полы:

«Сколько надо?»

«Да я непьющий», — мнется покупатель. — «Мне бы «varpunen».

«Сколько?»

«Двадцать штук», — отвечает непьющий.

Возница на телеге, помявшись немного, двигает дальше, позволяя Тойво присесть рядом с ним.

Действительно, едут они по этим самым бутлегеровским делам. Схема до неприличия проста: под телегой — багажное дно, как в вагонах поезда, там дожидаются своего часа канистры. Если не знать, где искать, то сразу и не обнаружить. Да вот только полицаи на этом уже собаку съели. Да не одну. Но чтобы избежать неприятности с досмотром, в бричку садится пассажир, едущий по своим делам. А дела у него — адвокатские, в суд направляется, чтобы «драная Фемида — оглобля ей в дышло — восторжествовала». С такой «крышей» есть хороший шанс проехать дальше непотревоженным. Вот так.

— Вот так? — удивился Тойво, указав на бессмысленно пялящегося по округе «адвоката».

— Нажрался, падла, — вздохнул кучер. — Не в первый раз уже с нами работает, вот и подсел на халявное бухло. Жалко его — пропадет, коли выгонят.

— Ну, на свежем воздухе продует, да еще перекусить, как следует — оклемается.

— Как же перекусить? — притворно возмутился возница. — Ведь ты же всю его еду стрескал за обе щеки!

Действительно, не считая оброненного кучером пирога, весь съестной набор из корзинки уничтожил Антикайнен. Да и тот он тоже «приговорил».

— Ну, тогда просто проветрится! — улыбнулся Тойво.

Возницу звали Карл. Ехали они как раз в Пухос, где на фанерном заводе трудилось много рабочих рук. А рабочим рукам, как известно, с пятницу по воскресенье нужно пойло, чтобы влить его в рот. Иначе мозг не отдохнет и руки потеряют свои рабочие навыки.

— А сам-то кто? — спросил Карл.

— Я Антти Тойвонен, — решил не называть себя Тойво. — С

излечения.

— То-то моя кобыла от тебя, как от покойника, дернулась, — заметил кучер. — С того света, что ли, выкарабкался? При смерти лежал?

— Было дело, — вздохнул Антикайнен.

— Ну, и как там — поди, лучше, чем здесь?

Эх, знал бы ты — плакал бы. Тойво посмотрел вокруг и даже испугался: вдруг, все это исчезнет? Глупости — там другой мир, там другое время, точнее — безвременье. Там мертвые. Manala.

— Здесь Родина, — сказал Тойво и решил переменить тему. — А что, вообще, творится?

— Да все по-прежнему, — ответил Карл. — Эдускунта, белые, красные. Вот на днях коммуниста словили. Если верить газетам — жуткий враг, дьявол просто.

— А кто такой?

— Да из России шпион, — попробовал рассказать, что запомнил, кучер. — В прошлом году пробрался. Баламутил народ. Пятнадцать лет ему дали, сатане.

— Адольф Тайми, — неожиданно сказал «котелок».

— Ого, их адвокатское величие приходит в себя, — криво усмехнулся возница.

Вот, значит, что с коммунистами происходит. Впрочем, Карл был недалек от истины, назвав того дьяволом. Дьявольский приспешник.

Тойво доехал с начиненной контрабандным спиртом телегой до самого Пухоса, где возле большой конюшни пожарной части он помог сгрузить все добро. Теперь оно вполне может стать «злом». На прощанье адвокат, посоветовавшись с кучером, передал попутчику одного «воробышка» — в уплату, так сказать, за конвоирование.

— Ну, куда теперь? — спросил Карл.

— Да на завод пойду устраиваться. Где разнорабочие требуются.

— Это в Вяртсиля, не иначе?

Ну, в Вяртсиля, так в Вяртсиля. Не болтаться же по дорогам! Родина хороша тем, что в ней можно найти свое место. Или, хотя бы, свой уголок.

Здравствуй, Родина!

21. Без России

В Хельсинки сам банковский управляющий принял Тойво. Не сказать, что он был радушен, но его подчеркнутая вежливость лишний раз говорила за себя: такие деньги просто так не даются, и вовсе не даются абы кому. Тайна банковского вклада в то время соблюдалась также свято, как и всемирный банковский постулат: «Деньги, черт побери, не пахнут».

Антикайнену нужно было совсем немного: прикупить дешевенький домик на отшибе Финляндии, престарелым родителям немного средств к существованию передать, да что-то совсем на карманные нужды себе оставить. Про яхту, гоночный автомобиль и годовой пансион на Лазурном берегу даже не говорилось. Это подразумевалось само собой. В смысле — это было не нужно. Во всяком случае в ближайшем обозримом будущем.

— Мы предлагаем вам банковскую книжку, — сказал управляющий. — Наличные деньги по сложившимся формальностям следует заказать заранее.

— А как насчет банковского векселя? — спросил Тойво.

— Ну, конечно, под гарантию банка вы можете оформить вексель и получить обеспечение в любом месте, где, разумеется, имеются соответствующие резервы. Но эта операция подразумевает некий процент в виде комиссионного вознаграждения.

— Годится, — сказал Антикайнен. — И наличность.

Банкир посмотрел на запрашиваемую сумму, вздохнул и распорядился выдать их немедленно.

— Вы наш уважаемый клиент, поэтому мы всегда рады пойти вам навстречу.

— Ментo море, — пожал плечами Тойво.

— Моментально, — согласился управляющий. — В море.

Несмотря на то, что достаточно строгие процедуры проверки личного счета Антикайнен прошел без осложнений, в стране Финляндия он все-таки был на каком-то не вполне легальном положении. По бумажке, выданной на заводе в Вяртсиля, он был Антти Тойвонен, а по паспорту — вовсе никто, потому что паспорта у него не было никакого, даже Нансеновского. Это его не сильно удручало, это могло удручить только полицию, коли они бы бросились его проверять. Но им пока до него не было решительно никакого дела — мало ли по Финляндии в поисках лучшей доли финнов скитается?

За то время, что он провел рабочим, Тойво узнал о некоем

профсоюзном движении, которое с одной стороны поддерживали радикально настроенные последователи учения австрийского ефрейтора, а с другой — коммунисты и им сочувствующие.

Идея первых была величественной: слава, избранность, сила и порядок.

Вторые довольствовались идеей глобальной: равенство, братство, светлое будущее.

И те, и другие, в конечном счете, конечно, были заинтересованы только в перераспределении ценностей. Об этом можно было судить уже потому, что непотопляемый жирный социалист Саша Степанов бросался лозунгами, подыгрывая то одним, то другим. Он перестал быть «красным», но всегда был далек от «белых». Он был идейным, то есть, за деньги.

Тойво не вступал ни в какие профсоюзные объединения, держался несколько особняком, поэтому к нему попеременно подходили агитаторы с одной и другой стороны.

«Собрать сто дураков — никогда не получить ни одного умного. Собрать сто трусов — не получить ни одного героического действия» — цитировали своего вождя-идеолога одни.

«То, что мы оставим нашим детям зависит от степени решительности их отцов», — говорили другие.

— Ладно, — соглашался Антикайнен, но ни в какие партии не подписывался.

«Изучать историю надо для того, чтобы уметь применить ее уроки к текущей действительности», — не унимался пропагандист, заметив у Тойво книгу Эйно Лейно.

— А, применив, нужно менять саму историю, — ответил тот.

На этом разговор подошел к концу в виду своей бесперспективности.

Вообще, нынешняя ситуация, политическая или экономическая, была абсурдна. Все говорили, исполненные уважением к своим словам, но действовал один немногословный Маннергейм. И в коммунистах, и в националистах кишмя кишели провокаторы. Были местные, были питающиеся с Российской кормушки, были ставленники шведов и, конечно, немцев. Но все равно это были провокаторы.

Имелся у Тойво соблазн пойти по старым паролям и явкам, но, во-первых, он их не знал, так как не состоял в нелегалах-разведчиках, а, во-вторых, старые знакомые — еще со времен шюцкора — либо уже переболели всякими политиками, либо вовсе отошли в мир иной.

Именно поэтому он и решил на некоторое время отойти ото всех дел, уединиться от мира и попытаться найти согласие с

самим собой. Только договорившись с собой, можно договариваться и с другими людьми.

К середине осени он уже нашел место, где бы можно было осесть за вполне реальную деньгу, также обзавелся разными справками, подтверждающими, что он, Антти Тойвонен, был работником завода в Вяртсиля. Ну, а о паспорте можно подумать только тогда, когда на кармане лежат деньги, не имеющие сравнение со скудным денежным содержанием его предприятия.

Тойво въехал в свой маленький дом, и первую осеннюю неделю наслаждался полным одиночеством. С Вяртсиля было покончено, смысл в работе потерялся совершенно. Конечно, существовало некое опасение, что скука заест, но не заедала! Он привел в порядок свое маленькое хозяйство, в ближайшем городке Тохмаярви нашел бакалейщика, который вполне мог поставлять продукты по его неискушенному вкусу, и зажил никому не известной жизнью, коротая предпоследний месяц 1928 года.

Однако о нем местные жители все же знали — расплатиться за покупку дома банковским векселем, конечно, не так круто, как наличностью, но тоже достойно. Пошли разговоры. Ничего страшного: поговорят и перестанут. Тойво был приветлив со всеми, откликался на имя Антти и ни к каким противоправным действиям склонен не был. Так сказал местный ленсман, по долгу службы попытавшийся разобраться who is who.

Зато из беседы с этим сельским полицаем Антикайнен выяснил, что Турку до сих пор остается столицей криминального мира Финляндии. Ну, а раз так, то где-то там должен быть его паспорт. Пусть Нансеновский, но именно тот документ, которым можно трясти, забыв о бумажках с завода Вяртсиля.

Народ еще только начал готовиться к новомодному празднику независимости, а Тойво навострил свои лыжи к ближайшей железной дороге, чтобы отправиться в небольшое путешествие. К родителям на это раз заезжать он не намеревался.

Отдавая матери в прошлый раз пакет с деньгами, Антикайнен напутствовал ее, чтобы об этом никто и никогда не узнал.

— Когда придут обо мне спрашивать, можно говорить, все, что угодно. Только не про марки — конфискуют в два счета.

— А, может быть, никто и не придет?

— Может быть, но вряд ли. Вопрос стоит по-другому: когда придут?

Он уходил от своей семьи и с горечью осознавал, что так будет легче для всех — больше не появляться в Сернесе. Даже для мамы.

У кого можно узнать об изготовлении фальшивых

документов? Правильно: у полицейских. Нет таких преступников, которые бы ни платили этому ведомству. А если и есть, то это просто хулиганы, с которыми не нужно считаться.

Однако подойти в первому же попавшемуся полицаю с таким весьма специфическим вопросом — все равно, что написать заявление о добровольной посадке в тюрьму. Поэтому, приехав в Турку, Антикайнен первым делом совершил вояж по местам с некой предрасположенностью к криминалитету: рынок, торговые представительства коммерческих фирм «Ухо и рыло» и им подобным, а также забегаловкам, где подавали крепкий чай.

В непринужденной беседе он пытался выявить информацию о мзде за бизнес, коли он решится таковой открыть. Ему советовали, если считали себя «благодетелями», то есть, попросту хвастались. Его запугивали, если видели в нем какого-нибудь мифического конкурента. Ну и из таких бесед постепенно вырисовалось направление: где, кто и сколько?

Тойво вышел на лавочника в мелкооптовой торговле пряностями «из Индии». Тот кивнул в сторону самого важного городового, раз в день вышагивавшего по улице в одному ему известном направлении. Городовой, перехватив десятку марок, кивнул, в свою очередь, обратно на лавочника, не вдаваясь в подробности.

И тот уже, получив, так сказать, неофициальное «добро» на сделку, за такую же десятку обозначил место и время, когда можно обратиться, заплатить и получить желаемое.

— Это чигане, что ли? — спросил Тойво.

— А тебе есть разница? — фыркнул лавочник.

Антикайнен пожал плечами: ладно, нет проблем.

В принципе, он еще дома загодя подготовился к чему-то подобному. И деньги отложил, и заначку подготовил в случае непредвиденной траты.

Едва начало смеркаться, как Тойво постучался в дом, соседствующий с лесом. Место безлюдное и по цыганскому обычаю захламленное — не чрезвычайно, но изрядно. Если сюда заходить ночной порой, то в компании хорошо вооруженных людей в количестве десять человек. Если днем — то, вообще, проходить мимо, потому что и десяти будет мало.

Словно бы его ждали — дверь открылась моментально. Парень с лиловыми, как у лошади, глазами навыкат, деловито охлопал карманы Антикайнена и кивнул другому.

— Дорогой, — сразу же сказал тот. — Молодец, что пришел. Ты за ксивой? А деньги взял?

— А где паспорт? — спросил Тойво. — Я деньги на улице спрятал. Отдам сразу же, как получу документ.

Больше не разговаривая, его сопроводили через несколько коридоров и лестниц на второй этаж, где, вероятно, принимал посетителей и, вообще, занимался своими управленческими делами главный чиган — барон, по их понятиям.

Сопровождающий что-то проговорил на своем языке вальяжному увешенному золотыми цепями человеку за столом, прищелкнув при этом языком. Перевода не требовалось.

— Отчего такой недоверчивый? — то ли возмутился, то ли восхитился барон и кивком отослал людей. Впрочем, из-за шкафа немедленно выдвинулся еще один и замер, скрестив руки внизу живота. — Присаживайся. Сейчас все решать будем.

Тойво опустился на стул возле стола, а главный чиган достал из выдвинутого ящика несколько бланков паспортов. Это были и Нансеновские, хлипкие, и новые — плотные. Он положил на них свою крепкую ладонь, словно бы прикрывая от чужого взгляда, и спросил:

— Ну, теперь поговорим об оплате. А потом мой человек тебе все пропишет, куда надо.

В этом моменте предполагалось, что клиент расслабится и отбросит все свои страхи и беспокойства. С таким легче работать, даже если он действительно упрятал свои деньги где-то на улице — сам расскажет о месте клада. Никто, конечно, не собирался отдавать никакие паспорта.

Стоящий человек плавно переместился за спину Антикайнена. Тойво, не делая резких движений, поднял прямо перед собой правую руку, словно бы собираясь указывать куда-то вперед, а левой также спокойно перехватил ее возле кисти.

Барон не успел удивиться — он, вообще-то, ожидал дальнейших событий, сценарий к которым написал сам. Но все пошло немного не так. Точнее, совсем не так.

Тойво резко согнул в локте правую руку, помогая ей левой, швы на рукаве разошлись, освобождая что-то, не являющееся ни одеждой, ни человеческой конечностью, как таковой. Одновременно сзади из подмышки стремительно выскочило жало, вероятно, очень острое, которое легко пронзило насквозь человека с удавкой в руках, склонившегося над Антикайненом.

Тойво также резко левой рукой вырвал пику обратно и без промедления всадил ее в горло барону.

Человек может закричать, если он боится, или ему становится больно. В этом же случае ни испуга, ни страдания не было. Оба чигана вздохнули, а барон еще забулькал, и они разом завалились вперед.

Антикайнен во избежание шума поймал человека с удавкой и уложил того на ковер. Потом забрал со стола все паспорта, так

как на столешницу уже начала натекать лужа крови. Затем привел в исходное состояние свою заранее изготовленную в домашних условиях пику.

Она была телескопической, и рычаг на рукояти освобождал пружину, которая выталкивала вперед ударную ось, тщательно заточенную до остроты иглы. Таким образом в собранном положении вся пика была длиной в локоть. Все швы на рукаве он распустил, оставив только несколько, еле скрепляющих.

Тойво взял из выдвинутого ящика маленький пузырек с чернилами, которыми пригодно писать в паспорте, и прислушался. Тихо. За дверью никто не стоит.

Он вышел и, стараясь ступать бесшумно, отыскал дверь в чулан. Только здесь могла размещаться лестница на чердак. Так оно и было.

Выбравшись на крышу, по коньку добрался в полуприседи до края и, качнувшись несколько раз, прыгнул на растущую в трех-четырех метрах старую раскидистую ель. Тойво не сомневался, что ему это удастся — не даром же он провел днем предварительную рекогносцировку.

Удалось также спуститься вниз, не испачкавшись в смоле — все-таки зима на улице — и двинуться дальше. О следах на снегу он не беспокоился — к тому времени, как их найдут, если, вообще, найдут, Антикайнен будет уже далеко. В лесу его ждали лыжи, а это значит свобода в движении.

К Рождеству Тойво уже был у себя дома, выкинув из головы всю поездку в Турку. Да, такая наступила жизнь, что все приходится делать самому. Если раньше можно было полагаться на мощную систему под названием Россия, то теперь этого больше нет, увы. Или — ах!

В паспортах стояла печать со всеми положенными символами и закорючками. Если это была подделка, то весьма искусная. Свои новые данные он ввел сам, потренировавшись для этого несколько дней. Теперь он был «Антти Тойвонен». Можно любить и жаловать.

В ночь под Рождество Тойво достал так и не початый «воробышек», выданный ему когда-то за бутлегерство, развел небольшой костер во дворе и, перемежая стопки разбавленного спирта нарезанной с чесноком кинки, смотрел на звездное небо.

У него никого не осталось. Ни товарищей, с которыми довелось пройти весь лыжный марш в двадцать втором — он их сам предал, ни друзей — Куусинен вряд ли станет общаться с ренегатом, ни семьи — им легче без него. Осталась только память о тех счастливых днях и ночах, когда рядом с ним была вторая половинка его души.

Нет желаннее праздника, чем Рождество. Нет грустнее праздника, чем Рождество.

Одиночество не может положить конец стремлению человека жить среди людей, приносить пользу людям, доставлять радость людям. Одиночество хорошо на миг. Это трагедия, если этот миг длится всю жизнь.

А потом пришел новый 1929 год. И если бы дни от рассвета и до заката не были наполнены постоянным действием, Тойво сошел бы с ума. Он делал проруби в озере, устанавливая в них сети, что обнаружились в сарае от прежних хозяев. Накатал лыжню по лесу и льду, бегая по ней на лыжах по кругу, который предположительно равнялся восьми километрам. Из сеновала методично вытаскивал все оставшееся сено, размещая его в кормушку для лосей, что приметил возле своей лыжни. Вооружившись лопатой, чистил снег с тропы, по которой можно было дойди до дороги на Тохмаярви.

Когда Антикайнен осознал, что всю выловленную рыбу съесть не в состоянии, начал возить ее в лавку при аптекарском доме. Взамен не просил денег, а только книги во временное пользование. Поэтому когда работать на улице из-за темноты было невозможно, принуждал себя читать, неожиданно для себя увлекшись этим делом и «глотая» книги одну за другой.

Зима — не повод для тоски. Тоска может напасть только весной, когда все в природе требует любви. Может подстеречь летом, когда ночь никак не настает. Может придти осенью, когда плакать хочется вместе с дождем.

Но до этого надо еще дожить.

Словоохотливый аптекарь поведал Тойво о самом известном финском коммунисте, которым оказался все тот же неведомый Юрье Лейно. Где-то поблизости у него была приобретена в свое время хорошая ферма, куда он после разгона всех красных в 1918 году, отправился вместе с новой женой. То ли руки у него росли не из того места, то ли голова думала не по-фермерски: через год он бросил все, в том числе и жену, и укатил обратно в столицу.

— А Лииса до сих пор там одна, — сказал аптекарь, как бы между прочим. — Из скотины — только куры.

— Да, — ответил Тойво. — Одной нелегко.

— И ты тоже один, — заметил собеседник.

— Да, — согласился Антикайнен. — Тоже один.

А про себя подумал: «Черт побери, а ведь, действительно — живу на Родине, а один. И словно бы чего-то нет. России нет. Удивительно, так привязался к той реальности, что эта реальность как-то не очень реальна. Словно, сказка. Увы, не моя».

Эти мысли потрясли его. Неужели надо возвращаться к Отто

Куусинену, Оскари Кумпу и прочим своим товарищам?

Думая так, он возвращался к себе домой, но почему-то оказался совсем не дома. Ноги принесли его к дому Лиисы. Ноги, конечно, были не свои, а лошадиные. Ими управлял добрый сводник-аптекарь.

— Лииса! Я тебе тут человека привез, который «коня на ходу остановит, в горящую избу войдет», — сказал он и чертыхнулся. Это же русский поэт Некрасов про женщину говорил! — В общем, поможет.

Когда аптекарь уехал, Тойво, конечно, помог. В смысле, справился с теми работами, которые обычно женщинам в напряг: крестиком повышивать, пирог с рыбой сделать, стирку замутить. Шутка. Антикайнен поправил завалившийся, было, от снега сарай, раскидал по сторонам спрессовавшиеся возле тропинок груды снега.

Потом Лииса проводила Тойво через озеро — оказывается, жили они не так далеко друг от друга, если по зимним меркам. Затем она тоже помогла ему.

А потом утром неожиданно наступило утро. Случается, оказывается, и такое. Даже не в России.

22. Юрье Лейно

Отношения Тойво с Лиисой были просты. Это, конечно, не значит — примитивны. В некотором роде их взаимодействие было таким: и того, и другую вполне устраивала возможность оказаться рядом с другим человеком. Он делал тяжелую работу на два дома, она делала легкую работу на дом. Хозяйство не разваливалось, хоть и не развивалось. По крайней мере, куры были в порядке и с энтузиазмом делали то, что и положено курам: гадили с насеста друг другу на головы и в перерывах несли яйца.

Ни Антикайнен, ни Лииса не питали никаких иллюзий насчет дальнейшего будущего. Лед с озера сойдет — и отношения прекратятся, на время, или навсегда.

Женщина некогда была «столичной штучкой», но достаточно легко сделалась настоящей «селянкой». За бывшим мужем, во всяком случае, ехать не собиралась. Эта уединенная жизнь оказалось вполне по ней.

— Вероятно, Тайми, как человек с тонкой душой, способный только подделываться под других, почувствовал во мне тягу к природе, — как-то сказала она. — А сам, побарахтавшись в сельской жизни, ее не принял и не выдержал. Вот и ушел. Скатертью дорога.

— Да, бывает, — ответил Тойво, но потом удивился. — Тайми здесь жил?

— Ну, да, — согласилась она. — Я скажу даже больше: он был моим мужем.

Такого прошлого женщины он не знал. Мир тесен, оказывается. Адольф Тайми, некогда сатанист, ныне коммунист, так сказать, подпольщик, оказывается, тоже жил с Лиисой. А теперь он мотает свое пятнадцатилетний срок в одной из финских тюрем.

— А ты не навещала своего бывшего мужа, когда его посадили? — спросил Антикайнен.

— Разве он в тюрьме? — удивилась она.

Тойво призадумался: Адольф был разносторонне подготовленный человек, вполне мог за этот год уже и сбежать. Неужели после этого он наведывался к своей бывшей супруге? Никаких дружеских чувств к нему Антикайнен не испытывал, но побеседовать бы не отказался: всяко подпольщик был в курсе, что там в России сейчас творится. А, может быть, удалось бы через него и с Куусиненом связаться.

— Ну, не уверен, но в прошлом году его, вроде как,

судили, — проговорил он.

— Правда? — вскинула брови женщина.

— Так об этом все газеты, говорят, писали, — пожал плечами Тойво.

Лииса округлила глаза, а потом неожиданно рассмеялась.

Все, спеклась бабенка. Любовь, наверно, была у нее к этому Тайми. Вот теперь и последствия сказываются в виде незначительного помутнения разума.

— Не, это Адольфа в тюрьму упекли, — наконец, сказала она.

— Верно, — осторожно согласился Антикайнен и на всякий случай посмотрел по сторонам в поисках путей отступления. Черт, надо бы было об этом в курятнике говорить — там, в случае чего, можно курами отбиться.

— А я жила с Антти.

— Правильно, — немедленно согласился Тойво, который и был представлен женщине именно, как «Антти». У него и паспорт на это имя был под рукой.

— Антти Тайми — родственник Адольфа Тайми. Брат, что ли — черт их разберет, коммунистов недоделанных. Ну, партийная кличка у него «Юрье Лейно». В знак признательности творчеству Эйно Лейно. Понял?

Вот, оказывается, где собака-то порылась! Братья! Или кто-то еще, но не сестры.

Ну, если судьба так настойчиво намекает ему на этого самого Юрье Лейно, то с ним нужно встретиться. Зачем? Так просто больше не с кем. Наверняка найдутся общие темы для обсуждения. Может, через него и канал в Советскую Россию имеется? Тойво не мог сам себе лгать: очень неприятно было чувство, что его считают дезертиром, кем он, в принципе, и был. Ну, во всяком случае, узнать, как дело кончилось после пресловутой «Лыжни Антикайнена».

Тойво тряхнул головой, словно отгоняя невеселые мысли и больше к теме бывшего мужа Лиисы не возвращался.

Эта тема сама к нему возвратилась, когда они перестали встречаться на момент ледохода, а добрая душа аптекарь, искренне веривший в свою знаковую роль при знакомстве «двух одиноких сердец», позволил себе пространно рассуждать, кто такой был этот Лейно, и отчего он укатил восвояси.

— Меня просил письма ему пересылать, если таковые будут, — сказал он.

— И адрес оставил? — невинно поинтересовался Тойво.

— А то! — гордо ответил тот. — Вот, сам полюбопытствуй.

Антикайнен полюбопытствовал и понял, что этот Юрье обозначил свое местоположение адресом старого толстого

оппозиционера Саши Степанова. «Рыбак рыбака видит издалека!»

Когда лед почти сошел, по озеру можно было передвигаться на лодке. Он навестил Лиису, которая неожиданно, утром, сказала:

— Когда ты уедешь, помни мои слова.

— Какие слова? — удивился Тойво.

— Стало быть, ты уедешь, — вздохнула женщина и отвела взгляд.

Пожалуй, она была права. Деятельная натура всегда, к сожалению, любой отдых и жизнь в свое удовольствие воспринимает, как бездействие. На самом деле это не так, но привычка, вторая натура, взывает: надо что-то делать, а не только хозяйством заниматься.

— Я обязательно вернусь, — сказал Тойво. — У меня впервые есть свой дом, и он — здесь.

— Я верю, что это так, — улыбнулась Лииса. — Но сердце твое не здесь.

Ну, что же, и это верно. Свое сердце он закопал в безымянной могиле на кладбище Выборга. Где-то там лежит убийца Мищенко, но это не важно. Важно то, что сердце Тойво навсегда осталось возле могильного камня с именем «Лотта».

— Ты не ответила, — помрачнев, сказал он.

Лииса, заметив перемену в настроении своего мужчины, улыбаться не перестала: в конечном итоге, все они прошли через многое в этой жизни, у каждого есть своя грусть. Она взяла Антикайнена за руку и заглянула ему в глаза.

— Береги природу, мать вашу! — сказала она и рассмеялась.

Тойво, сначала удивившись, потом рассмеялся и сам. Хорошие слова и очень уместные.

— На самом деле мне бы хотелось тебя немного предостеречь, — прекратив смеяться, проговорила Лииса, сделавшись опять серьезной. — Не доверяй моему бывшему мужу. Не связывайся с ним — он способен на любую подлость, а потом обязательно найдет этому оправдание.

Вокруг бурлила весна 1929 года, снег проседал на глазах, являя проталины и первые подснежники, птицы кричали друг другу какие-то свои лозунги, собаки щерились на солнце, не обращая внимание на лежащих на заборах и крышах сараев котов. Уже пролетел, жужжа на всю округу, первый жук, уже сожрал его после приземления пробудившийся ежик. Уже люди начали улыбаться не только из вежливости друг другу, но и по причине внезапно свалившегося на их головы хорошего настроения. А весной — только так! Весной по-другому не бывает.

— Почему ты так решила? — спросил Тойво.

— Не знаю, — пожала плечами женщина. — Мне так кажется.

На самом деле, конечно, об интересе к Юрье ей рассказал все тот же аптекарь.

— Ты последи за моим домом, пожалуйста — уже садясь в лодку, сказал Антикайнен.

— Без проблем, — ответила Лииса.

Вот так и вышло, что толчком к поездке в Хельсинки послужила эта мимолетная беседа. Тойво вытащил из озера все сетки и катиски, развесил их сушиться в сарае, собрал нехитрый походный саквояж, сдал аптекарю по пути на станцию всю выловленную рыбу и помахал гостеприимному городку Тохмаярви рукой.

Тохмаярви в ответ тоже помахал тремя руками: одной — ленсмана, одной — аптекаря, и еще одной — собаки ленсмана по кличке, как водится, «Бобриков».

Оппозиционер Степанов жил в столичном районе Керава. Был у него дом, жена, такая же продажная, как и он сам, и — все. Дети разъехались, собаки и кошки в доме не приживались, друзей не было. Саша промышлял лекциями о политической обстановке, в основном — зарубежной. Про Финляндию — или хорошо, или никак. Такая ныне существовала установка, словно про покойника. Левые и правые были под запретом, ну, а средние — это вовсе никто.

Такое положение вещей не очень смущало обычных финнов, в эпоху «сухого закона» у них были цели и задачи поважней, нежели какая-то политика.

Вот из-за этого денег у Степанова было не очень много. С хлеба на воду не перебивались, однако личного шофера пришлось уволить, а автомобиль — продать. Нормальное, в общем-то, положение, но те, кто разок вкусили плоды своей «значимости» с этим мирятся крайне неохотно. Им все мало.

Тойво не торопился бежать к знакомому с детства политикану. Он остановился в гостинице и пару дней изучал жилище Саши, входы-выходы, а также людей, что приходили по этому адресу. Проследил его маршруты, а также передвижения его жены, в лишний раз убедившись, что пара стоит друг друга, потому что сволочи. Степанов охотно контактировал с полицией, изображая на лице при этом полнейшее радушие. Его жена также радовалась при встречах с какими-то сотрудниками министерства внутренних дел, то ли получая от них указания, то ли делясь какой-то информацией.

Черт побери, что они могли знать, проводя большую часть времени дома?

Вот как раз в этом-то и была опасность. Нельзя давать даже

малейший повод, чтобы чета Степановых выявила усердие и проявила рвение. Застучат, это не вызывало никаких сомнений.

Тогда Антикайнен написал письмо Юрье Лейно, якобы пересланное из Тохмаярви через попутчика, и за десять пенни попросил какого-то мальчишку доставить его Саше. А сам приготовился ждать и наблюдать в облюбованном по такому случаю садике.

Левой рукой через плечо он написал полнейшую чепуху, придумав мифический долг, а также просьбу в счет этого долга организовать поставку литературы. Письмо, конечно, было неважно. Важно, чтобы за ним пришел Лейно.

Однако тот не появился, зато на другой день появился совсем молодой человек, доселе в дом не вхожий. Пробыл он внутри всего пару минут и ушел, как ни в чем не бывало: считая ворон и похлопывая себя по внутреннему карману пиджака.

Тойво, нимало не заботясь, последовал за ним и дошел до пансиона, в котором молодой человек также провел всего пару минут, по выходу тряся мелочевкой в кулаке — плата за услуги курьера.

Заходить внутрь и задавать вопросы показалось для Антикайнена предосудительным. Уж лучше подождать, имея хорошую ориентировку: возраст, рост, татуировка на спине «Не забуду мать родную?» и манера поведения состоявшегося политика. На надпись между лопаток он надеялся меньше всего — вряд ли Юрье имеет обыкновение ходить топлесс.

Не прошло и получаса, как субъект, почти по всем описаниям подходящий под Лейно, неторопливо и важно вышел из дверей пансиона и пошел по своим делам. Оставалось только напасть на него и содрать пиджак, рубашку, нательное белье, чтобы убедиться: вот он, демон! Однако, конечно, этого не требовалось — уж больно чем-то неуловимым Юрье напоминал ему сидящего в тюрьме Адольфа Тайми.

Тойво пошел следом за ним, а, поравнявшись, оглушительно шепнул ему прямо на ухо:

— Антти!

Тот подпрыгнул на месте и, похоже, чуть-чуть описался в штаны. Вероятно, не привык к такого рода случайностям на улице.

— Как? — спросил он, зажав ладонью оглушенное ухо. — Чего вы хотите?

— Это меня зовут «Антти». А ты — Юрье. Так? — подвинувшись к нему вплотную и дыша недавно специально пережеванным чесноком, спросил Тойво.

— Я Антти, то есть, Юрье. Но в чем дело? Ты что — белены

объелся?

Похоже, он быстро начал приходить в себя.

— Чеснока, — поправил Антикайнен. — Поговорим?

— О чем? — досадливо поправляя брюки — точно, описался! — спросил Лейно.

— О литературе, — сказал Тойво и подмигнул.

Юрье сразу на память пришло только что полученное письмо, из которого он ничего не понял. Он почесал в затылке, пытаясь сообразить, посмотрел на Антикайнена, потом еще раз и, вдруг, заулыбался.

— Ох и сволочь ты, — сказал он несколько неожиданно.

— Почему? — настал черед удивляться самому Тойво.

— Я тебя знаю.

— А я тебя — не очень. Вернее, не знаю совсем.

— Ты же тот самый красный террорист Антикайнен, который лыжник! — перейдя на зловещий шепот, сказал Юрье.

— Нет, — даже слегка растерялся Тойво. — Он — это не я. Точнее, я — это не он.

— Да ладно! — Лейно даже махнул рукой. — Помню еще в восемнадцатом году видел тебя с Вилли Брандтом, а потом с этим русским революционером — с Бокием. Помню твои выступления перед рабочими в Тампере.

— В Турку, — поправил его Антикайнен.

— Вот, а, говоришь, не ты. Побеседуем? Только мне домой забежать надо, а то напугался преизрядно.

Потом они отправились в «очень приличную чайную», где за чашечкой крепкого чая можно было вести разговоры хоть до посинения.

— Нам «воробышка» для настроения, — сказал Юрье, и потому, что его никто не стал переспрашивать, сделалось понятно, что он здесь свой проверенный и бывалый клиент.

Лейно был уверен, что Антикайнена прислали из «центра» с каким-то особым заданием. Мировую революцию замутить, либо Маннергейма пришить, немецкого прихвостня, или что-то еще секретное. Тойво не пытался его разубедить, но понимал, что придется раскрыться. Ну, или частично выдать правду, недомолвками придавая ей загадочный и даже сакральный оттенок. В смысле «великих коммунистических идей» сакральность.

Антикайнен с первых же минут общения видел в собеседнике своего в доску парня. Веселый, остроумный, очень неглупый и способный к анализу ситуации с прагматической точки зрения, — Юрье располагал к себе. Однако Тойво помнил слова Лиисы, а также знал о некоей связи Лейно с продажной шкурой

Степановым. Чтобы сделать какой-то вывод, этого, конечно, недостаточно. Но в общих чертах получалось нечто следующее: партийное дело вполне могло превратить дружески настроенного человека в полного недруга. То есть, можно общаться с Юрье и быть уверенным, что он не побежит в полицию, но при возникновении неких обстоятельств, которые как-то пагубно могут отразиться на репутации или дальнейших перспективах — сдаст, не поморщившись.

Первый «воробышек» закончился быстро, прилетел второй, беседа приобрела вполне задушевный характер. Тойво ничего не стал говорить о Лиисе, зато понял, что время информации наступило.

— Такое дело, Юрье, — начал он. — Да ты, пожалуй, уже и сам понял, что я в некотором роде не при делах.

Тот в ответ важно кивнул головой, хотя на самом деле ни черта не понял.

— У меня случилась неприятность, своего рода последствия того лыжного марша, — сказал Тойво. — В общем, получил я по голове сосулькой, и многое из того, что потом случилось со мной, теперь для меня загадка. Сам понимаешь, руководству сообщать об этом невозможно: не поймут они, да и с посадкой твоего брата у меня все концы обрубились.

— Концы, как говорится, в воду, — захихикал Юрье. Похоже, то, что Адольф в тюрьме, не очень заботило его. — То-то я смотрю — странный ты какой-то. Ни лозунгов, ни позывов.

— Ах, к чему эта патетика! — вздохнул Антикайнен. — Мы тут свои пацаны, нам кривляться не за чем.

— Отличный тост, слушай! — обрадовался Лейно. — А также предлагаю выпить за то, что можно вот так спокойно «попить чайку» с херрушкой политбюро!

В 1923 году, оказывается, Тойво стал членом ЦК компартии Финляндии, а уже через два года сделался и вовсе членом Политбюро ЦК компартии Финляндии. Хорошие должности, руководящие, зарплата весьма достойная, опять же, санитарно-курортное лечение на уровне мировых стандартов.

Антикайнен почесал в затылке: хорошо он устроился, нечего сказать.

— А семья? — поинтересовался он. — Ну, там, жена, дети?

— Да ты что! — деланно возмутился Юрье и отодвинулся от стола на вытянутых руках, качнувшись на стуле. — Ведь ты же фагот! И жена твоя Николай Асеев!

— Этот поэт Асеев все по Маяковскому вздыхал, — засомневался Тойво, отчаянно застеснявшись непонятной для него репутации. — Как же так?

— Да, шучу я! — серьезно, будто и не пил вовсе, сказал Лейно и засмеялся, прикрыв рот рукой, чтобы не привлечь внимание других посетителей. — Видел бы ты сейчас свое лицо!

Да, это точно — посмотреть бы в лицо тому, кто теперь заместо него затесался в красные финны! Ну, не может же быть так, чтобы на столь руководящие должности принимали заочно! Выходит, есть теперь другой Тойво Антикайнен, живет своей жизнью, снятой с его собственной, и в ус не дует. Или это его самого после прохождения портала клонировало, как овечку? Нет, в этом случае Бокий такой случай не упустил бы для своих исследований. Значит, по-щучьему велению, по партийному хотению, появился у него двойник. Может быть, это даже неплохо — не будут его искать ни те, ни другие.

Однако срока давности у дела по пропавшей финской казне нет. Тем более в нынешних реалиях, когда псевдо-Антикайнен сидит где-то в России, отвлекая, так сказать, внимание, а настоящий бродит по Финляндии. Тут уже дело государственной, следует понимать, важности. Стоит только пустить слух, завтра же все полицаи будут иметь ориентировки на поимку опасного преступника-террориста, проникшего на территорию страны младенцев жрать, девушек насиловать и мужчин убивать, предварительно их истязая.

— Ты вот что, Юрье, — сказал Тойво. — Не говори никому, что я здесь.

— Ты вот что, Тойво, — ответил Юрье. — Помощь твоя нужна.

Они посмотрели друг другу в глаза, словно и не было этих сожранных «воробушков».

— О Степанове не беспокойся — это не мое доверенное лицо и никогда им не будет, — продолжил Лейно. — Мне до зарезу нужен твой опыт в одном деле на севере.

— Какой опыт? — спросил Антикайнен. — Шюцкора, красного командира, лыжника-шиша?

— Да весь, — сказал Юрье. — Но об этом — завтра. Давай, что ли споем?

И они спели, стараясь не распугать посетителей чайной.

Стала пуганой птица удачи и не верит чужим рукам.
Да и как же ей быть иначе — браконьеры и тут, и там.
Подкрадешься — она обманет, и вот уже навсегда ушла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.

23. Подполье

На следующий день случилось похмелье. Когда дело доходит до застольных песен — похмелье неминуемо.

Тойво воспринял свое состояние, как необходимую дань в получении информации. Ему стало понятно, что теперь, в некотором роде, он сделался зависим от Лейно, но не могла же такая зависимость быть завуалированным шантажом! Хотя, как ни назови это дело, но помогать Юрье придется. Пусть это будет чувством долга.

Они встретились в бане, на самом деле, лучшем средстве избавления от отравления алкоголем. После парилки и окунания в холодную воду вся похмельная «кирза» пропадает, возвращается привычная ясность ума и бодрость организма. Даже снова выпить хочется по такому случаю.

— Как у тебя с ксивой? — спросил в раздевалке зардевшийся от пара Лейно.

Тойво показал свой паспорт и с интересом ждал суждения своего товарища.

— Если это и не чистый документ, то высококачественный и, вероятно, дорогой, — покрутив картонную книжицу и так, и сяк, сказал Юрье. — Не буду у тебя, товарищ Антти, спрашивать, откуда и как?

Они с удовольствием выпили замаскированную под квас бражку, и мир снова сделался чудесным и радостным. Предложение Лейно было нисколько не выходящее за рамки обычной политической жизни любой страны: требовалось помешать конкурирующей партии сделаться лидером в жизни одного комбината на севере Финляндии.

На большом заводе в городе Раахе весь рабочий профсоюз а также кадровое ведомство начала подминать под себя организация под названием «Национально-патриотическое движение». Как правило, за такими гордыми словами гнездятся фашиствующие молодчики, очень модные ныне по всей Европе. Коммунистов выдавливают, а иногда и бьют. Под раздачу попадают даже, так называемые, беспартийные, которых большинство. С этой целью национал-патриоты создали молодежные центры «Воинов Одина» и «Мы Каръяла — нам Похъела».

Если коммунистам удастся противостоять в бытовом плане фашистам — то есть, вернуть право выбора на добровольную основу — все за ними и потянутся. А это — доверие, это — поддержка, это — согласие с основными целями и задачами.

— Ты, как член Политбюро ЦК компартии Финляндии, подходишь для такой работы, как никто лучше, — сказал Юрье. — Не афишируя себя, конечно.

— Когда? — тяжко вздохнув, спросил Тойво.

— Вообще-то, к сентябрю, — сказал Юрье. — Летом, как правило, активности никакой. Мы с товарищами думали, что документы необходимые за это время как раз удастся выправить. Ну, а ты уже упакован по полной программе — так что есть время продумать свои действия, ну, и отдохнуть еще. Ты где до этого работал?

— В Вяртсиля на машиностроении, — ответил Тойво.

— Вот и замечательно: выправим тебе рекомендацию по рабочей линии, комар носа не подточит.

На том и порешили. Не сказать, чтобы предстоящая работа была вопреки чаяниям Антикайнена. Наоборот — с людьми, полная свобода творчества, независимость от финансовых средств. И плюсом также может быть расценено вероятность связи с другом Отто Куусиненом, который, по слухам, с новым Антикайненом в приятельских отношениях совсем не состоит.

В общем, спустя два с лишним месяца, он взялся за работу со всем рвением, которое мог себе позволить.

Перед этим, конечно, Тойво съездил в свой домик и общался с Лиисой, которая ни о чем не спрашивала, просто была рада его возвращению. А лето в Тохмаярви — это чудесная пора, если, конечно, как-то договориться с комарами. Но с этими подлыми тварями можно только биться смертным боем. Всю романтику финской природы портят, кровососы!

Антикайнен отправился в Раахе, нисколько не настраиваясь на борьбу, на идеологию — да, вообще, ни на что. Ораторствовать перед рабочими массами — да ну! Это тоже не входило в его планы. В замечательный день 1 сентября 1929 года Тойво был уже на месте.

Для начала он изловил местного «социалиста» — запуганного и дерганного мужчину под пятьдесят лет.

— С полицией какие отношения? — спросил он.

— Да никакие, — пожал плечами тот.

— Это хорошо.

Местные хулиганы, объединившись под политическими лозунгами, зачастую «работали» за удовольствие. То есть, деньги не получали, зато получали власть. В жизни, однако, люди объединяются сами по себе чрезвычайно редко. Обычно их кто-то к этому подталкивает.

— Когда народ к тебе потянется со своими предложениями, пожеланиями и прочим — знаешь, к кому за помощью

обращаться? — строго спросил Тойво.

— К полиции? — растерялся «социалист».

Прекратив смеяться, Антикайнен обрисовал ситуацию: рабочий профсоюз — представитель Лейно — фракция эдускунты.

— Вот и все. Поддержите на выборах — поддержат вас, ну, и тебя лично, — объяснил он. — Будете жить и процветать. И детям, и внукам заработка хватит. Ведь чем раб от работника отличается?

— Чем?

— Эх, садовая твоя голова: раб — работает, работник — зарабатывает. Вот так. По рукам?

«Социалист», было, протянул руку, но тут же ее боязливо одернул.

— А если народ не потянется? — спросил он.

— Не переживай, друг, — вздохнул Тойво. — Это уже моя забота.

Отправившись после этой беседы в полицию, Антикайнен почти неформально переговорил с местными полицаями и случившимися тут же парой деревенских ленсманов. Конечно, предварительно, он показал свои документы, в том числе и листок какого-то убытия из Вяртсиля — им его снабдил Лейно. Среди представителей «закона» оказалось несколько человек с шюцкоровским прошлым, отчего у Тойво авторитета стало немного больше, чем у простого обывателя.

Выяснилось, что приверженцы фашизма так же не приветствуются у них в городе, как и фанаты коммунизма — от них одни беспорядки. И те, и другие падки на силовые меры, не гнушаются мордобоем и даже разбоем.

— А у вас и коммунисты имеются? — невинно поинтересовался Антикайнен.

— Ага, — хором согласились полицаи. — Парни из «Мы — Каръяла, нам — Похъела».

— А Нинисто? — он назвал фамилию «социалиста».

— Так это профсоюз рабочих, а он ничего не решает, — опять хором выдали полицаи. — А что?

Да ничего, какая-то дезориентация здесь наблюдается. Не иначе кто-то где-то сидит и дирижирует. Комбинат-то в Раахе — ого-го! Градообразующее предприятие.

— Господа полицаи, вы в хоре петь пробовали? — Тойво собрался уходить.

— А-то! — обрадовались они.

Следующую пару недель Антикайнен потратил на «знакомство» с участниками боевых групп, которые «обеспечивали покой и мирный труд рабочих на предприятии».

Кому сломал руку, кого просто сделал временно нетрудоспособным по причине множественности травм всего организма. Его пытались отловить, в него даже разок пальнули, но все это было полной чепухой для командира лыжников-шишей и человека, выжившего в странных условиях нематериального мира год спустя.

Каждому, с кем довелось общаться по делу «комбината Раахе», он говорил:

— Надеюсь, ты понимаешь, с кем тебе безопасней сосуществовать и получать зарплату за твой труд?

— С кем? — без исключения, спрашивали все собеседники.

— А ты подумай на досуге, — всегда отвечал Тойво.

Через некоторое время удалось вычислить «засланного казачка», играющего всю политическую карту места.

Это был одинокий маленький человечек, обеспеченный и относительно независимый, ярый охотник и коллекционер холодного оружия, которое он почему-то именовал «арийским». Всегда безупречно одетый, педантичный до мерзости, Берг — такова была его фамилия — умел долго и воодушевленно разглагольствовать о новых крестоносцах, что не вызывало сомнений: скоро придет время, когда сподвижников Берга будут носить в крытых алым атласом носилках, в то время, как прочие будут всего лишь червями и копошиться в грязи.

Тойво пришел в его дом под видом интересующегося клинками человека, который обладает уникальным ножом. В доказательство он набросал эскиз утраченного в ночь на Ивана Купалу древнего пуукко.

Берг его принял — как же иначе можно было поступить с человеком, который переминался с ноги на ногу перед его отнюдь не шикарным холостяцким жилищем. Соратники разошлись по делам, и до завтрашнего утра можно было предаваться планам, расчетам и самоподготовке. В общем, дело было к вечеру, делать было нечего.

— Хайль тебе, господин Берг, — сказал Антикайнен.

— Хай-хайль, — ответил тот и добавил. — Хеллоу!

— Вот! — он всунул ему в руки листок с рисунком в разных проекциях и с указанием размеров. — Можно в туалет?

— Да здесь туалетов — немерено! — возмутился хозяин и для верности показал по сторонам, где, что называется, кустились кусты.

— Ну, мы же культурные люди! — возразил Тойво. — А то обосцу.

Туалет, как и положено, был на заднем дворе. Тип — сортир. Но оборудованный по последнему слову техники: контейнер под

выгребную яму, опилки совместно с компостом, лампа-летучая мышь, даже туалетная бумага из Тампере. Чувствовалось, что хозяин проводит здесь время, а не мимолетные моменты «пришел-ушел».

— Откуда у тебя это? — строго спросил Берг, поджидающий в некотором удалении от туалета.

Тойво немедленно полез ручкаться, но хозяин брезгливо одернул свои руки и спрятал их за спину вместе с рисунком.

— Ладно-ладно, — сказал Тойво. — Мы не гордые. От карела одного достался в качестве подарка.

— Редкостная и сакральная вещица, — заявил Берг. — Арийская. Сколько хочешь?

— Не продается, — скрипуче ответил Антикайнен. — Пуукко, как память о предках.

Хозяин хотел, было, возразить, объяснить про величие, надежные руки и тому подобное, но резко передумал.

— Ты же Антти Тойвонен, — сказал он и сделал несколько шагов назад. Он сунул руку к крыльцу и вытащил из-за стойки ружье. Вероятно, оно было заряженным.

Тойво тотчас же подскочил и ловко вывернул оружие из рук хозяина. Не медля ни секунды, он сунул прикладом Бергу поддых, а сам встал так, чтобы видеть все вокруг себя, упираясь спиной в крыльцо.

— У тебя два выхода: написать письмо и уехать, куда глаза глядят, либо просто уехать, — сказал Антикайнен.

Хозяин, отдышавшись на коленях, медленно поднялся на ноги. Лицо его опять приобрело брезгливое выражение.

— Я так понял, что ты предлагаешь либо жить, либо умереть. Хорошо, я тебе отвечу: пошел ты к такой-то матери. Как бы сказали на моей родине в Мянтсяля, механизм запущен, человек уже не властен.

— Хорошо, — ответил Тойво и вернул ружье хозяину. — Тогда я пошел. Только в спину не стреляй. Крестоносцы так не поступают.

Он подобрал упавший листок со своим эскизом и ушел по направлению на закат.

Берг еще с минуту стоял, глядя ему в спину, то поднимая, то опуская свое оружие. Когда странный посетитель скрылся из виду, он сказал сам себе: «Как бы добавили в Мянтсяля, воля ломает безволие». И в отличном расположении духа пошел внутрь, чтобы назавтра скоординировать встречу с представителями руководства комбината. Пора выставлять свои требования.

Тойво не сомневался, что диалога с Бергом не выйдет. У

таких людей не может быть компромиссов, потому они всегда одни, без родных и близких, у них есть цель — остальное уже неважно. Непонятно, то ли причиной тому малый рост? Или уязвленное с детства самолюбие? Или плохая компания и скверная литература? Ну, компанию человек подбирает себе сам, а литература, если скверная, то и не читается. Да что там голову ломать? Если есть клоп, то его надо давить.

Оставшийся вечер и часть ночи Антикайнен потратил на обход сколь-нибудь заметных соратников Берга, в том числе и из «Воинов Одина», и «Мы — Каръяла, нам — Похъела». Конечно, ни одного карела в последней организации не было.

Кое-с-кем удалось поговорить вполне мирно — не дружелюбно, но без мордобития — с этими людьми он успел уже пересечься в этом месяце ранее. Кто-то другой дрался, кто-то даже хорошо дрался. Тойво изрядно досталось по голове и прочим частям тела, он в долгу не остался. Главная цель, которую он преследовал: чтобы молодчики Берга не собрались в стаю в тот же вечер — иначе бы ему просто не удалось выжить.

Всем Антикайнен говорил новую заготовку:

— Неужели ты веришь, что умеешь летать? Оставайся на земле.

Под утро, устав до чертиков, Тойво поднял с постели Нинисто.

— Ну, настало, похоже, твое время, — вместо приветствия сказал он. — К тебе люди потянутся, ты их правильно организуй. Не отвергай тех, кто был с фашистами. Более того: особое внимание к ним.

— С чего ты взял? — щурясь в кромешную темноту за пределами свечки, что держал в руке, Нинисто призадумался. Со сна это пока получалось не очень.

— Скоро здесь будет много полиции — у них прибавится работы. Так что народ к тебе потянется, будь уверен. Ну, прощай, «социалист». Верю, что у тебя все получится. Юрье Лейно на тебя очень надеется, — Тойво отвернулся, чтобы уйти, но собеседник попридержал его за рукав.

— Ты куда? — спросил он. — Может, помощь нужна? Или отдохнуть надо?

— Это вам помощь была нужна. Я ее оказал. Так что пора уходить. Ну, а насчет отдыха — не переживай. Покой нам только снится.

Антикайнен канул во тьму, будто его и не было. Нинисто постоял еще с минуту, зевнул и пошел досыпать. Ему-то что? Живи и радуйся.

До рассвета оставалось еще пару часов, но расслабляться

было некогда. Тойво действительно собирался уходить из Раахе, причем намеревался сделать это пешком по лесу, но было еще одно дельце, которое необходимо было провернуть.

Он дошел до дома Берга, опустился на четвереньки и очень тихо двинулся вокруг участка, надеясь, что соседская собака не подымет шум. Но та оказалась то ли глухой, то ли добрые хозяева пускали ее в дом на ночь. В любом случае, все это было Тойво на руку.

Настоящая фамилия лидера местных ультрас была Валленберг, происхождение, понятное дело, не из финнов, ни, тем более, карелов. Кроме дел с комбинатом в Раахе он курировал ряд организаций по некоторой части северной территории Финляндии. И несмотря на всю свою скрупулезность и педантичность, он был человек и ничто человеческое ему не было чуждо.

Тойво прокрался до задней стенки туалета, где в свободном доступе стоял специальный контейнер со всякой всячиной внутри. Однако ни запаха, ни протечек эта всячина не выделяла. Антикайнен, стараясь не касаться краев ящика, поместил внутрь брикет величиной с полторы спичечных коробки фирмы Билтема, от которого отходили два провода. Последние были намотаны на катушку, величиной с кулак управляющего фирмы Билтема.

Тойво пополз прочь от туалета, разматывая провода. Все это удавалось сделать практически бесшумно. И, выбравшись за пределы участка Берга, он подсоединил к концам проводов небольшое магнето, величиной с точилку для карандашей, понятно кого и понятно откуда. Теперь оставалось только ждать.

В брикете, понятное дело, был тринитротолуол в консистенции, весьма смахивающей на мыло. Изначально, задумав дело, Антикайнен хотел изготовить взрывное устройство самостоятельно. Говорят, в тюрьмах этим делом промышляют наиболее продвинутые уркаганы. Берут сухое печенье, беличий помет и выделения потовых желез начальников караулов — смешивают в определенной пропорции и плюют внутрь для крутости. Все — бомба готова, тюрьмы рвутся, как картонные домики.

По учебе же в школе шюцкора он помнил, какой это трудоемкий и кропотливый процесс, всегда чреватый оторванными конечностями. Поэтому, отбросив ложный стыд, нашел взрывника в ближайшем карьере, что был в полусотне километров от Раахе, и за мзду приобрел все необходимое. В интересах того же подрывника было молчать, если что-то где-то рванет. О нем Тойво не беспокоился.

Когда Валленберг по устоявшейся традиции совершал свой

утренний туалет, тот взорвался. Антикайнен, изучив все внутренние характеристики сортира, установил заряд так, что шансов у Берга не было никаких. Кусочки руководителя и вдохновителя фашистских идей разлетелись по округе на много метров.

Голова, например, прилетела в соседний курятник и там, к ужасу доброй птичницы, замерла на насесте, вспугнув полусонных кур. Те потом, конечно, оправились и на новый предмет в их жилище внимание обращать перестали, а вот женщина, решившая войти с утренним осмотром, всполошилась не на шутку. Только два «воробышка», один за другим, смогли унять внутреннюю дрожь и внешний истерический хохот хозяйки курятника.

Тойво, слегка оглушенный, смотал остатки проводов на катушку и уполз в кусты. По ним он намеревался выбраться в лес, где предварительно оставил все свои пожитки и походный спальный мешок в придачу.

Едва смолкло эхо взрыва, как наперегонки прибежали местные полицаи. Они посмотрели на курящуюся воронку и побежали за подмогой. Скоро от полицейских в Раахе было не протолкнуться. Взрывы тогда были редкостью.

24. Авторитет

Тойво проспал вдалеке от людей и дорог в лесу двое суток. Он уже делал так когда-то. Именно в лесу можно было выспаться, именно в лесу можно было освободиться от прилипших, как грязь, чужих взглядов. Именно в лесу можно остаться человеком.

Антикайнен сделал из лапника маленький шалаш, несмотря на то, что погода стояла тихой, безветренной, и, вроде бы, дождя не обещалось. Головой к северу, фляга с водой возле руки, укутавшись в спальный мешок, Тойво не заметил, как заснул.

Бывает, сон приносит мучение, хочется, чтобы скорее наступило утро, которое встречаешь злым, разбитым и донельзя несчастным. Но иногда, на радость, бывает не так. Пусть, сновидения по пробуждению мгновенно забываются, но остается мир, который где-то есть — и ты был частью этого мира, там счастье — и ты был счастлив, как в детстве.

Тойво спал и тихо дышал, мимо проходили звери, тянули носом запах человека и, не тревожась, уходили дальше по своим звериным делам. У них, зверей, нет в привычке подойти, похлопать по плечу и спросить: «Спишь?» Или позвонить среди ночи по телефону и спросить: «Почему нет воды?» Звери уважают человека.

Неизвестно когда в эти сутки — ночью или днем — приснилась ему Лотта. Никогда раньше такого не было. Всякие уроды снились, а она — нет. Просил, молил — ни разу.

Покойники во сне разнятся своим поведением. Иногда они кажутся, какими были при жизни, как память о том времени. Стало быть, и видятся живыми: разговаривают, действуют — ведут себя, как люди. Это пустые сны, это просто отражение прошлого через призму бессознательности. Бред, иной раз кошмарный.

Но, бывает, покойник видится уже тем, кого нет, кто уже помер, кто не в этом мире — и ты это осознаешь. Это вещие сны, и к ним надо относиться серьезно, чтобы запомнить, чтобы разобраться. Но зачастую в такие моменты покойники не разговаривают, все больше молчат, лишь иногда что-то дают. Это хороший знак. Однако их молчание — это, словно, мука. Пытаться постичь, что же такая бессловесность «говорит» — все равно, что отвернуть голову у модного психотерапевта и вытряхнуть из нее все дерьмо.

Тойво приснилась Лотта, красивая и, словно бы, лучезарная. Он побежал к ней, обнял, но она пропала, чтобы опять появиться в некотором отдалении. Антикайнен кричал ей, чтобы она не

уходила, чтобы взяла его с собой, чтобы они были вместе. Лотта ничего не отвечала, участливо улыбаясь, расположив перед собой руки так, что пальцы сложились в некий символ.

Он бросился к ней, но никак не мог тронуться с места, потом что-то начало его отвлекать, потом пошла вереница совершенно непонятных образов, сменившихся чем-то пустым и тягучим. Надо было проснуться, но все никак не удавалось.

Может быть, это было правильно, потому что дальше ничего не снилось.

И Тойво спал, спал, пока время сна не вышло.

Он выпил всю воду из фляги, чувствуя, как в тело возвращается жизнь и силы, и надежда. Вокруг был день, такой же покойный, как тогда, когда он заснул. Можно было жить дальше.

Антикайнен с удовольствием размял руки-ноги, прислушиваясь к своему организму. Организма ничего предостерегающего не говорил. Значит, можно было двигаться дальше. Как бы то ни было, работа с комбинатом Раахе закончилась.

Тойво засветло дошел до карьера, в котором работали подрывники, художественно закладывающие свои взрыв-пакеты так, чтобы камни лопались в форме прямоугольных глыб. Взрывали раз в неделю, остальное время бурились, делали разметку и варили понтикку.

Антикайнен, вызвав своего взрывного подельника, вручил ему магнето.

— Спасибо, брат, вот возвращаю, как и обещал, — сказал он.

— Хорошо, — ответил тот. — Я и не надеялся, вообще-то. Особенно, когда узнал про взрыв в Раахе. А потом подумал, что моего тола не хватило бы разнести какой-то сарай в щепы, да еще и воронку сделать.

Ну, да, взрывник, конечно, был прав. Если бы Тойво во время предварительного посещения туалета Берга не спустил в дыру со всей осторожностью две бутылки с глицерином, приобретенным заранее у аптекаря из Тохмаярви, да еще кое-чем, такого оглушительно разрушающего эффекта добиться бы было невозможно. Кое-что, понятное дело — «царская водка». Головая шашка сыграла роль детонатора.

Антикайнен имел желание пройтись осенним лесом до самого Тохмаярви, но надо было сделать крюк в Хельсинки, чтобы встретиться с Юрье. Служба службой, но всякий труд должен быть оплачен. Если он не придет за вознаграждением, это может показаться подозрительным. За идею даже фанатики не работают. Все фанатичные идеи подпитываются деньгами, и весьма

немалыми, зачастую. Политика, блин! Как сказал один умный человек: «Терроризм и политика — две стороны одной и той же монеты».

В поезде, куда он сел, о взрыве в Раахе никто не говорил. Разве что в купленной газете в хрониках происшествий какой-то умник из полицейского департамента разъяснял, что заядлый охотник Валленберг погиб в результате несчастного случая в связи с неосторожным обращением с порохом.

А также, весьма неожиданно, было помещено совсем небольшое интервью с представителем рабочего движения Нинисто, который «социалист». Говорил он грамотно и не использовал лозунги и пафос. Вероятно, Лейно с ним поработал, либо кто-то из его доверенных лиц. Но для Тойво это уже было совсем неважно.

Условившись о встрече, Антикайнен поймал себя на мысли: как же хочется побыстрее убраться из города, где столько людей! Желание побыть одному в своем маленьком доме, где вокруг только небо, озеро и лес — вот это настоящее желание! А как же, «чтоб на всей Земле наступил коммунизм»?

Юрье пришел в чайную, спокойный и уверенный в себе. Тойво сразу подумал: «Не иначе баблосики в карман капнули». Человек нищий тоже может быть спокойным и уверенным в себе. Только, в отличие от человека богатого, он несет на себе отпечаток вселенской печали. Не стоит путать со «вселенской тоской» — эта падла может быть, как у тех, так и других.

— Да, — сказал Лейно. — Весьма впечатляюще. Честно скажу: не ожидал. Комбинат наш. И репутация по северам — тоже.

Антикайнен пожал плечами. Почему-то этот жест Юрье растолковал превратно: он поспешно достал из кармана сложенный вдвое картонный листок с нарисованным поверху слоником и, положив на стол, пододвинул его Тойво.

— Здесь оплата, ну, и премиальные за оперативность, — произнес он, отчего-то смущаясь.

— Ладно, — сказал Антикайнен и, не пересчитывая марки, убрал картон в нагрудный карман пиджака. — У меня важная информация.

— Какая? — брови Юрье поднялись вверх.

Тойво вздохнул и проговорил, словно бы неохотно:

— В Мянтсяля готовится бунт, мятеж или революция — трудно подобрать название. Там силы, причем, не только финские.

— Почему ты так решил? — нисколько не удивляясь, спросил Лейно.

— Валленберг, который взорвался от неосторожного обращения с порохом, не был жителем Мянтсяля. Но он, даже в беседе со мной, ссылался на это место.

— Что он говорил?

— Берг сказал так: «механизм запущен, человек уже не властен». Он в это время находился под прицелом ружья, поэтому вряд ли был в состоянии придумывать что-либо и врать.

Юрье откинулся на спинку стула, потянул из стакана кофе — на этот раз чай заказывать не решился ни тот, ни другой ввиду, вероятно, всей серьезности беседы — и сказал, в свою очередь, пожав плечами:

— Ну, будем принимать соответствующие меры.

На этом, собственно говоря, разговор и был закончен. Лейно попросил возможности связаться, на что Тойво ответил:

— Только не в этом году.

И, оставив для связи адрес ничего не подозревающего аптекаря в Тохмаярви, вышел на улицу.

К слову сказать, информация о Мянтсяля только подтвердила предположения других источников: там зрел фашистский заговор, в намерения которого входили не только смена власти, но и прочая ерунда — расстрел всех коммунистов, концентрационные лагеря для не коренных и прочее, прочее.

Конечно, все это было слито в правительство, отчего невозмутимый Маннергейм возмутился.

— Как это — менять власть? Не согласен.

А с расстрелом коммунистов и лагерями для не-финнов согласен? Впрочем, вопрос совсем риторический.

Готовящийся про-фашистский мятеж в Мянтсяля был беспощадно подавлен. Жертвы, конечно, были. Однако этими жертвами у правительства оказались развязаны руки: почему бы точно так в случае чего не поступить и с коммунистами?

До самого февраля 1930 года Тойво проводил время у себя на хуторе. Лииса была рада возвращению своего милого друга, но сдержанно показывала эту радость: то поленом по спине огреет, то в бане кипятком обдаст.

— Это я от любви, — объясняла она.

— Ага, — морщился от боли Антикайнен. — Понимаю.

А в конце января произошло событие, которое привнесло в уединенную жизнь Тойво забытое, было, чувство единения с товарищами и стоящей перед ними большой целью. Это событие было связано с неожиданным визитом самого Отто Куусинена.

Антикайнен вошел к аптекарю, выждав момент, когда тот перестанет разговаривать о чем-то с явно неместным человеком, который после этого удрученно отошел в сторону. Когда они

мельком глянули друг на друга, человек вздохнул и сказал:

— Антти!

— Вилли! — тотчас же ответил Тойво, употребив подпольное имя Куусинена — тот ведь тоже назвал его по-местному.

Они долго хлопали друг друга по спине в крепком мужском объятии, а растроганный аптекарь пытался объяснить:

— Уж простите меня, не мог я сразу указать, где живет Тойвонен. Не мое это дело, вот я и предложил дождаться, когда сам Антти пожалует.

— Все нормально, — сказал Отто.

— Все нормально, — добавил Антикайнен. — Это мой друг детства, желанная и неожиданная встреча.

Куусинен был одет непривычно — по-походному, отчего сразу делалось понятно: он в Финляндии явно нелегально.

По дороге к дому Тойво Отто объяснил:

— Пришла странная шифровка от одного товарища, в которой упоминалось о поощрении некоего Антикайнена. Мол, опыт, мол, решительность, мол, умение находить решения, мол, отчаянная храбрость и холодная голова. Двух таких Антикайненов быть не может. Но один сейчас где-то в Питере. Тогда кто второй?

— Кстати, как там я в России? — сразу же спросил Тойво.

— Да никак, — махнул рукой Куусинен. — Мы не общаемся вовсе. Это не наш человек. Разве что по долгу службы, да и то — в очень редких случаях. Да и пес с ним!

Куусинен, не долго думая, решился на командировку в Финляндию. Зимней порой это удобно делать, потому что финны охватить наблюдением весь Финский залив не в состоянии. А он, как известно, покрыт льдом, на который выходят рыбаки и не только рыбаки. Отто на быстроходном буере — такие спаренные сани под парусом — добрался до островов возле Выборга, а дальше, никем не потревоженный, поездом доехал до Хельсинки.

— Не нравится мне общаться с Лейно, но пришлось, — продолжил рассказ Куусинен. — Описал он мне тебя, твою работу в Раахе, дал адрес аптеки в Тохмаярви — и вот я здесь.

Они проговорили до глубокой ночи. Отто сетовал, что в стране началось неприятное явление борьбы за власть. Теперь, когда Советская Россия твердо стояла на ногах, сделалось возможным убирать политических конкурентов или потенциальных оппозиционеров. Обычное, в принципе, дело. Революция всегда пожирает своих детей.

Вся беда нынешней ситуации в том, что в нее активно вовлекаются самые низшие слои: крестьянин стучит на крестьянина, уборщица — на уборщицу, а иной раз на директора.

И того убирают: с должности, с работы, со свободы.

— Мерзость начала плодиться в судейском аппарате, — сокрушаясь, сказал Отто. — Нелюдей там становится больше, нежели в обычной жизни. И это, братец, культ, потому что так надо.

— Страшное дело, — согласился Тойво.

Куусинен посмотрел на него долгим взглядом, а потом сказал:

— Не надо тебе возвращаться в Россию. Пусть вместо тебя кто-то другой роль героя-лыжника исполняет.

Антикайнен ничего на это не ответил. На самом деле, он пока не принял никакого решения, как жить дальше и, вообще, где жить.

— Но твое умение нам крайне необходимо, — вероятно, расценив молчание друга как-то иначе, сказал Отто. — Я не доверяю этому Лейно, а свой человек в Финляндии мне очень нужен. Теперь нам важно не самим раздуть пожар мировой революции, а не позволить сделать тоже самое кому-то другому. Фашистам, например.

Однако постепенно от дел перешли к воспоминаниям, что было важно и тому, и другому. Не хватало лишь музыки.

Дом стоит, свет горит.
Из окна видна даль.
Так откуда взялась печаль:
И, вроде, жить — не тужить,
И, вроде, жить — будь здоров.
Так откуда взялась печаль?

На следующий день Куусинен уехал, оставив пароли и явки. Пароли и явки не помещались на столе, поэтому Тойво их перепрятал на задний двор до весны, откуда они вместе с талой водой исчезли в неизвестном направлении. Да разве нужны они были человеку, который о политике узнавал из газет, тем более, что газеты он принципиально не читал?

— Поедешь со мной? — Тойво однажды спросил Лиису.

— Куда? — поинтересовалась она.

— Где белый песок, бирюзовое море и синее небо, — вздохнул Антикайнен.

— Но там же нет зимы! — сказала женщина. — И леса там нет, и озера. Да и людей там, похоже, тоже нет.

— Мы и здесь-то с людьми раз в день, в лучшем случае, видимся, — возразил Тойво, не очень уверенно.

— Ну, что ты говоришь! — улыбнулась Лииса. — Жить среди

людей — не значит, видеть их каждую минуту. Это значит, видеть их тогда, когда душа пожелает.

Это было правдой. Женщины гораздо тоньше чувствуют истинное положение вещей, а, особенно, те из них, кто, испытав все превратности судьбы, не превратились в сук. Лииса, пережив личную трагедию, связанную с потерей ребенка, оставалась доброй и сострадательной.

Антикайнен навещал аптекаря, который время от времени давал ему корреспонденцию от Лейно: художественные книги, где под корешками всегда покоились инструкции и просьбы. Из инструкций он узнавал, где и с кем следует поработать. Из просьб — чего желательно добиться.

Тойво ездил с визитом в городок Нокиа возле Тампере, где на средство от сообщества трубочистов было организовано производство бумаги, в том числе и туалетной. Ныне же в связи с новыми веяниями завод перепрофилировался на пластмассы и развивался стремительными темпами. Деньги были, оборот — тоже, вот только какая-то собака давила рабочее движение. Даже не коммунистическое, а просто — профсоюзное. Дисциплина на предприятии была тюремной, оно и понятно — управляющим работал некий голландец из Голландии, под кличкой «Упырь».

Скажет Упырь, что в субботу работа, как и положено по трудовому кодексу, до трех дня, вот только надо быстренько подготовить производственные емкости для вероятного заказа на понедельник. Сам уйдет в свои апартаменты, а народ под надзором до часу ночи дергается в конвульсиях. Тем, кто возмущается — штраф, кто отлынивает — увольнение без выходного пособия.

— У нас такое воспитание, — любил говорить Упырь. — Голландцы привыкли работать.

Оно и видно: пузо у управляющего росло, амбиции — тоже. Начальство, к слову сказать, все шведское — души в нем не чаяло.

Дело было очень деликатным, поэтому Антикайнену пришлось лично встречаться с Лейно.

— Как в «Нокиа» работать? — спросил он. — По национальному принципу?

— Ну, все люди равны, независимо от национальности — ответил Юрье и воровато оглянулся по сторонам. — Всех голландцев вывести на чистую воду, шведам указать их место. Финны и русские сами все должны понять. Для бестолковых подготовим маленький вброс листовок под заголовком: «Как повысить производительность труда». Ферштейн?

— Я, я, натюрлих, — Тойво укатил в Тампере.

В общем, репутация у Лейно в Финляндии росла. Даже не потому, что он числился коммунистом, а потому, что получал поддержку и сам денно и нощно кого-то поддерживал.

И это не могло не напрягать оппозицию. И это не могло пройти мимо внимания советников Маннергейма. И это не могло, в конце концов, продолжаться бесконечно.

Эпилог. Опять арест

К 32-му году работать стало сложнее. А тут еще бац — и «сухой закон», наконец-то, отменили!

Как говорили работяги, подмигивая друг другу?

— 543210!

— Именно! 543210!

Разгадка цифр была проста: пятого апреля тридцать второго года в десять часов утра алкоголь поступил в свободную торговлю!

Что-то изменилось? Да ровным счетом — ничего. Только к ответственности перестали привлекать за бутлеггерство. Хотя перемены случаются, как правило, при введении «сухого закона». Великая депрессия в США, грядущий развал Советского Союза и иные неприятности. При отмене мало что меняется — все уже давно приспособились к этому делу.

Вот для Тойво «воробышки», как дань уважения, оказались очень большим подспорьем. На стайку этих пернатых всегда можно было рассчитывать. Особенно в дни, когда финны топили свои сауны. Какая же баня без бухла?

Он продолжал оставлять для матери конверты с деньгами, которые относили посыльные. А однажды посыльный пришел обратно с запиской. Конечно, всем этим делом занимался Лейно, он же и переправил эту весточку с очередной книжкой в аптеку в Тохмаярви.

«Сынок!» — писала мать. — «Приходили спрашивать про тебя. О деньгах не сказала. Ты уж будь осторожен!»

Вот, стало быть, и настал момент, который он ждал несколько лет. Только почему власти принялись искать его, коли он, типа, в Питере в коминтернах заседает и в политической борьбе больше не замечен?

Надо было связаться с Куусиненом — может, прошла утечка информации о том, что тот несколько лет назад встречался с Антикайненом? Просто так никто розысками заниматься не будет.

К сожалению, дело оказалось гораздо прозаичнее, но Тойво узнал об этом позднее, когда ничего предпринять уже было нельзя.

Однажды в трамвае в Хельсинки он оказался в одном вагоне с женой Саши Степанова, такой же пламенной революционеркой, как и ее муж. Когда-то в прошлой жизни в Сернесе она видела Антикайнена, а Саша о нем тогда очень нелестно отзывался. Поэтому лицо худощавого мускулистого человека с синими

глазами показалось ей знакомым. Она только не могла вспомнить: кто это? Ну, а Тойво ее не заметил, слишком был занят какими-то своими думами.

Дома, конечно, об этой встрече она рассказала мужу, а тот, как человек в высшей мере рачительный — мало ли деньгу малую такая встреча принесет — задумался. Он даже попросил описать знакомого незнакомца.

— Ну, лицо у него такое вытянутое, — попыталась вспомнить жена. — Глаза синие, как небо, взгляд задумчивый, как у Пааво Нурми, губы ровные, чувственные, руки крепкие и нежные, плечи широкие, надежные.

— Убью гада! — прошипел Саша, пузатый, плешивый с блеклыми глазами пьяницы, вечно мокрыми губами и пухлыми ручками. — Будто про моего соседа говоришь.

— Так нет же у нас таких соседей! — поспешно сказала жена.

— Вот потому и нету, что я всех поубивал нахрен!

— О, ты мой герой!

Через некоторое время в памяти у него снова возникло описание и слово «сосед». Почему-то они соседствовали рядом — именно так. Если бы слово было «брат», то непременно бы «братались». А у соседа мог быть брат, который удрал за границу. И у него тоже было вытянутое лицо. Черт побери, да кто же это такие?

— Милая, а на кого тот проходимец мог быть похож? — спросил он, не в силах решить головоломку.

— Ну, не знаю — на решительного парня, наверно, — пожала плечами жена.

— Ага, может он из «Национально-патриотического движения»? — предположил Саша.

— Нет, — возразила она. — У тех взгляды безумные. А этот печальный и, в то же время, твердый. Твердый, как…

Она запнулась, посмотрела, было, мужу на живот и, вздохнув, отвернулась.

— Убью гада! — опять прошипел Саша.

Прошел день, может быть, два, и Степанову в голову пришло еще одно сравнение. Что за чепуха сравнивать с национал-патриотами. Их раньше и в помине не было. Были революционеры. Может быть, того поля ягода?

— Пупсик, а не похож он на Куусинена? — сказал он первую фамилию, пришедшую в голову.

— Кто? — хрипло ответила жена, как раз в это время занятая истреблением взглядом через окно проходящих мимо молодых финок.

— Ну, тот тип в трамвае.

— Знаешь, а ведь что-то есть общее, — сказала она. — Хотя больше на его помощника. Он еще жил раньше по соседству. И брат у него в Швейцарию сбежал.

— На Антикайнена? — спросил Саша.

— Да, на Антикайнена, — охотно согласилась жена. — Вылитый Антикайнен.

Степанов сей же момент собрался и вышел из дому, сославшись на срочное дело. Он вскочил на самокат и помчался в известном ему направлении. Спустя некоторое время мимо него промчалась, закусив удила, жена. Ну, на самом деле, это лошадь извозчика закусила удила, но Саше показалось именно так.

Он ворвался в галантерейный салон и, запыхавшись, хрипя, сказал:

— Антикайнен в городе.

А потом добавил:

— Мне водки, пива и семян подсолнечника.

В это же самое время его жена стремительным вихрем пронеслась внутрь портного салона и с порога произнесла:

— Антикайнен в городе.

А потом добавила:

— Мне семян подсолнечника, пива и водки.

Секретные сотрудники секретной службы секретной полиции Финляндии немедленно отправили шифрограммы своим начальникам, а отличившимся агентам по их просьбе доставили заказ.

Вечером пьяные в дугу супруги Степановы встретились дома. У каждого был полный карман семечек, от каждого шел ядреный выхлоп, и у каждого на кармане образовалось по пятьдесят марок — премия за безупречную службу.

— Как прошел день, дорогая? — икнув, спросил Саша.

— Обычно, — икнула в ответ его супруга. — А у тебя?

Про Антикайнена они не вспоминали, рухнули в безмятежном сне старых бессовестных пропоиц и захрапели, исполненные чувства долга.

Детальное ознакомление с предположением о нелегальном нахождении террориста номер один в стране Суоми выявило, что в России тоже есть некто Антикайнен, работает в Коминтерне, только никто его никогда не видит: ни сотрудники, ни соратники, ни даже в буфете. Промелькнет где-то — и опять тихарится.

Семи пядей во лбу не надо, чтобы сделать вывод: это прикрытие для человека, который в подполье в соседней стране. Стало быть, надо искать.

По всей стране полицаям и ленсманам выдали описание опасного преступника, составленное со слов четы Степановых а

также отбывающего наказание Адольфа Тайми. Последний не хотел сотрудничать с властями, но как-то так вышло, что засотрудничал.

На вокзалах, рынках и оживленных улицах городовые начали приставать к честным и ничего не подозревающим финнам с требованием показать документы. Отдавали, конечно, предпочтение тем, у кого биометрия лица соответствовала разыскиваемому. Впрочем, даже у круглолицых фермеров лица вытягивались, когда у них требовали паспорта.

Рвение ни к чему не привело. Отловленным сотням «Антикайненам» дали под зад и вытурили из кутузок, куда их помещали для выяснения.

Сам Тойво оставался неуловим.

Тогда в секретной службе началась долгая и кропотливая работа, связанная с глубоким анализом текущего положения. Вопрос о том, что же делает здесь Антикайнен, предполагал много ответов, из которых следовало выявить наиболее вероятные.

В конце концов сработала пословица «Сколько веревочке ни виться, конец всегда найдется». И он нашелся в виде конца Юрье Лейно, точнее, просто Юрье Лейно — конец его тут ни при чем.

Неспешная разработка человека, делавшего успешную политическую карьеру, привела к тому, что летом 1934 года его арестовали неизвестные люди прямо по выходу из эдускунты, где он теперь было частым посетителем. Целый месяц об Лейно не было ни слуху, ни духу. Впрочем, это никого не озаботило. Ушел в запой, подумало большинство. Чтоб ты навеки пропал, подумало меньшинство.

В сентябре того же года аптекарю в Тохмаярви пришла очередная бандеролька с книгой Жюля Верна на имя Антти Тойвонена.

Юрье просил Тойво лично заехать за инструкцией, так как материала было много, и в корешок книги он не помещался. Даже такой толстой, как «Двадцать тысяч лье под водой». А также приглашал к нему в загородный дом, чтобы, так сказать, чествовать в закрытом кругу очередную годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции.

Тойво ничего не стал говорить Лиисе о том, что уходит. Просто попросил, если его долго не будет, чтобы она посмотрела за его хозяйством.

— Если ты задержишься, помни — я отсюда никуда не уйду, — сказала женщина. — Без тебя никуда не уйду.

Слова были какими-то странными, словно бы пророческими. Но она ничего не стала добавлять, просто перекрестила его и

ушла.

Кто была Лииса для него, и кто был он для нее? Они не были ни семьей, ни коммуной. В их отношениях не было никакой страсти. Вообще, их связь, скорее, была дружеской. Ну, почти дружеской, потому что дружба между мужчиной и женщиной подразумевает несколько больше, нежели просто помощь, соучастие и бескорыстность.

Тойво было покойно рядом с ней, он не чувствовал потребность уйти, уходил тогда, когда ему было нужно. Лииса тоже не старалась как-то определить их отношения. Вероятно, Антикайнен устраивал ее и ее жизнь.

В указанное время 6 ноября 1934 года Тойво подошел к уединенной усадьбе Лейно на хуторе Киркониеми. От Хельсинки пришлось добираться попутным транспортом. Пик проверок документов среди полицаев уже прошел, так что можно было спокойно двигаться в нужном направлении.

Добравшись до церкви, расположенной на самой большой возвышенности мыса, Антикайнен огляделся по сторонам. Все вокруг было тихо и спокойно, если не считать хмурившегося неба, что осенью вполне нормально.

Дело шло к сумеркам, поэтому он поторопился к дому Лейно, полагая, что завтра все-таки уйдет обратно. Праздник — дело хорошее, вот только праздновать не особо хотелось. Вспомнился далекий сон, когда однажды приснилась ему Лотта и ее жест пальцами — крест, решетка? Что-то тревожно было как-то на душе. Обычная осенняя депрессия? Наверно.

Тойво прошел через двор по ухоженной дорожке и постучался в дверь.

— Кто там? — раздался голос Юрье, в котором Антикайнену почему-то показались нотки досады.

— Хороший дом, двор красивый. И как у тебя только время на все это хватает? — спросил Тойво. — Разве гостей не ждешь?

— Жду, — горестно вздохнул Лейно, открывший дверь и после рукопожатия, пропуская товарища внутрь.

Все-таки, решетка.

Дальнейшие события в различных вариациях смаковали финские газеты: от самых желтых, до самых про-правительственных. Это было сенсацией.

> «6 ноября отряд полиции окружил дом в деревне Киркониеми, близ Хельсинки, где скрывался террорист Антикайнен, и арестовал его. Пойман вождь финских коммунистов! Государственный прокурор Плантинг торжественно заявил еще до начала судебного процесса,

что он потребует смертной казни Антикайнену. Теперь уж нечего было кивать на Москву. Антикайнен десять лет жил и работал в Финляндии и был неуловим. И наконец схвачен».

Такие дела, брат. Фамилия «Антикайнен» в каждом газетном предложении об успешной операции тайной полиции. Такие дела…

«Смерть Антикайнену!»

А пока — опять Tyrmä…

notes

Примечания

1

Привет, тьма, мой старый друг.
Я пришел поговорить с тобою снова.
Потому что предвидение, тихо подкрадываясь,
Оставляет свои посевы пока я сплю.
И это предвидение, что прорастает в моих мозгах
Все еще остается
Внутри звуков тишины

2

«Это проза жизни, ты знаешь!
Что?
Продажные полицаи».